

Астрид Линдгрен

ЧЕРСТИН И Я



Annotation

В повести "Черстин и я" сестры-близнецы Барбара и Черстин устали от скучных уроков, от пыльного города и уезжают с родителями жить в родовое поместье своего отца.

Там так много нового и интересного!

А самое главное - в жизни Черстин и Барбары появляются юноши Эрик и Бьерн.

- [Первая глава](#)
- [Вторая глава](#)
- [Третья глава](#)
- [Четвертая глава](#)
- [Пятая глава](#)
- [Шестая глава](#)
- [Седьмая глава](#)
- [Восьмая глава](#)
- [Девятая глава](#)
- [Десятая глава](#)
- [Одиннадцатая глава](#)
- [Двенадцатая глава](#)
- [Тринадцатая глава](#)
- [Четырнадцатая глава](#)
- [Пятнадцатая глава](#)
- [Шестнадцатая глава](#)
- [Семнадцатая глава](#)
- [Восемнадцатая глава](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)

- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)

- [67](#)
 - [68](#)
 - [69](#)
 - [70](#)
-

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

ЧЕРСТИН И Я



Первая глава

Удивительно, как молниеносно может измениться твое существование! Вот здесь мы — я и моя сестра Черстин — все шестнадцать лет нашей жизни ходили по одним и тем же мощным бульжниками улицам в этом вечно сонном маленьком гарнизонном городке, где никогда ничего не случилось, ну абсолютно ничего! Если не считать того дня, когда наши пухленькие детские ножки бежали домой от ящика с песком в Стадспаркен^[1] и, когда мы пробежали мимо трехэтажного дома на улице Стургатан, нам на голову чуть не свалился трубочист. Да, а еще в том же самом году, когда мы подтвердились^[2], сгорел канцелярский магазин Стрёмберга. А кроме этого — ну абсолютно ничего!

Вся наша жизнь была заботливо расписана: это значило — зубрить грамматику и всеобщую историю, биологию и многие другие предметы, которые скопище честолюбивых учителей пустило в ход, чтобы отравить жизнь невинных молодых людей, еще не сделавших в жизни ничего дурного. А еще каждое утро приходилось тащиться в нашу дорогую старую школу, если ненароком с тобой не приключался хоть какой-нибудь маленький недуг, который мог бы оправдать то, что ты остаешься в постели. А после полудня мы, разумеется, фланировали взад-вперед по Стургатан до тех пор, пока не начинала болеть спина. Мы шли двести метров вперед и столько же назад. А поворачивали всегда у Моторного акционерного общества Свенссона, бросив сначала взгляд на огромную витрину, чтобы констатировать: не беспокойтесь, выглядеть можно было бы и похуже. Строго говоря, мне не надо было заглядывать ни в какую витрину, чтобы получить представление о своей внешности. Мне требовалось лишь взглянуть на Черстин, потому что она больше похожа на меня, чем я на самое себя. Заверяю вас, если вы целых шестнадцать лет были близнецами, это оставляет свой след, клянусь. И если бы у меня на левой щеке не было маленькой коричневой крапинки, то никто бы так и не узнал, кто из нас Барбру, а кто Черстин. Но во всяком случае, Барбру — это точно я, и я установила сей факт раз и навсегда. Не потому, что это играет большую роль, поскольку мы выглядим почти одинаково, и нравится нам одно и то же, и справляемся мы с учебой в школе или, я бы сказала скорее, справлялись еле-еле совершенно одинаково. Мы ходили неукоснительно на одни и те же балы в гимназии и танцевали с одними и теми же мальчиками.

Нет, в нашей жизни никогда ничего не приключалось, и лично я даже подумать не могла ни о чем другом, кроме как семенить по одной и той же накатанной колее до тех пор, пока не придет смерть-избавительница. Но вот как-то раз, однако же, кое-что случилось. А поводом послужило просто то, что папе исполнилось пятьдесят лет и он в чине майора вышел в отставку, оставив полк, в котором до того дня служил королю и отечеству. Папа — высокий, крепкий, здоровый и сильный человек, о котором никто и не подумает, что ему хотя бы на один день больше сорока. Поэтому не мог он сидеть сложа руки, дожидаясь своего смертного часа. Он непрестанно размышлял, как ему теперь быть. Некое страховое общество охотно взяло бы его в качестве агента, суля ему, если он согласится там работать, значительные доходы. Но папа был не очень склонен к такой работе. Долгое время он производил впечатление человека, непрестанно размышляющего и замкнутого настолько, что мы едва осмеливались с ним заговаривать.

— Не мешайте ему, он думает, — говорила, насмешливо улыбаясь, наша красавица мама.

Предоставив папе возможность размышлять в мире и покое, она принималась за собственные дела. Поверхностному наблюдателю они показались бы состоящими главным образом в том, чтобы хорошо выглядеть и производить впечатление, будто она только сию минуту сошла со страницы модного журнала. И это лишь потому, что никто и предположить не

мог, какой деятельной и энергичной личностью она, вообще-то, была. Папа считал, что можно быть деятельной и все-таки выглядеть как чистокровная английская аристократка. Мама именно такая, и я всегда чувствую себя рядом с ней маленьким прекрасным жеребенком-арденом^[3].

Однажды в вечерний час, наразмышлявшись вдоволь, папа пришел в спальню, где мама как раз сидела перед зеркалом туалетного столика, а Черстин и я на кушетке, и с горящими от возбуждения глазами стал излагать свой грандиозный проект, сопровождая слова множеством энергичных жестов.

Папа родился за городом, в старинной помещичьей усадьбе. Называется она Лильхамра^[4] и принадлежала его роду с незапамятных времен, не знаю даже сколько лет. Но папа был единственным сыном в семье и стал офицером, а у дедушки было туго с деньгами, да и с земледелием у него не получалось. Бабушка умерла, дедушка стал болеть и в конце концов, устав от жизни, сдал усадьбу в аренду, а сам перебрался в город. Продавать родовое поместье ему не хотелось, так как он думал, что предки не одобрили бы, если бы он позволил усадьбе Лильхамра уйти из рук его рода. Спустя некоторое время дедушка умер и сам стал предком.

Ни Черстин, ни я никогда не видели эту усадьбу. Но все эти годы, подрастая, мы постоянно слышали папины рассказы о его детстве. Тогда он впадал в совершенную лирику и заставлял нас зеленеть от зависти своими пылкими описаниями фамильных привидений, сочельников в усадьбе, катаний и прогулок на санях, танцев в день летнего солнцестояния, пикников на берегу озера и многого другого. Так что наши собственные развлечения в городе казались нам невыносимо пресными и скучными. А по весне, как только березы приобретали фиолетовый оттенок, у папы неизменно появлялся мрачный блеск в глазах и он патетично декламировал:

— Я тоскую о земле, я тоскую о камнях, на которых играл ребенком!

Раз в год он проделывал долгий путь в имение, чтобы осмотреть его, проконтролировать арендатора, а когда возвращался обратно, то по меньшей мере две недели был опасен для жизни окружающих.

— Ужасно видеть дом своего детства в разбойничьих руках! — говорил он.

И скрежетал зубами при одной мысли о том, как дорогая его сердцу Лильхамра с каждым годом все больше и больше приходит в упадок.

А теперь папа со спутанными волосами и с расстегнутыми пуговицами мундира стоял посреди спальни, и поток слов бурно струился у него изо рта. Он напомнил маме о небольшом капиталце, унаследованном им от тетки, сестры его отца, который должен был обеспечить им с мамой безбедную старость. Папа считал абсолютным безумием помещение этих денег в банк иначе, нежели в ценных бумагах. Он сказал, что вообще-то создан для работы страхового агента и наверняка добыл бы множество выгодных, прекрасных страховок. Он подчеркнул, что ничего не смыслит в земледелии и что ныне для земледелия вообще настали трудные времена.

Он обратил внимание на то, что для тех, кто родился в городе, почти невозможно научиться благоденствовать в глухом захолустье какого-то селения... А в самом разгаре своих разглагольствований папа начал запинаться, огляделся, бросая отчаянные взгляды вокруг, и спросил... не может ли мама подумать о том... короче говоря, не появится ли у мамы, некоторым образом, желание сопровождать его в усадьбу Лильхамра и поселиться там?

Какой-то невероятно напряженный миг стояла мертвая тишина. И вдруг послышался спокойный голос мамы.

— Да, милый Нильс, — чуточку холодно сказала она, слегка подушившись своими тонкими французскими духами за правым ушком, — да, милый Нильс, я этого хочу!

Сначала папа стоял совершенно тихо. Потом на глазах его выступили слезы (у этого милого бедняги, которого так легко растрогать, они всегда появляются в таких случаях). Но вот он подскочил к маме и пылко ее поцеловал.

— Как я влюблен в тебя, — воскликнул он, — как я беспросветно и навечно влюблен в тебя! — А потом чуть более тихим голосом произнес: — Моя милая очаровательная принцесса! Но рядом сидели мы — Черстин и я.

— У маленьких Патрончиков^[5] тоже есть ушки, — строго сказала я.

— Вот именно, — подхватила Черстин. — Подумайте хорошенько, что здесь сидят две абсолютно трезвые, наделенные нормальным слухом личности и слушают, как вы дурачитесь.

— А вообще, — добавила я, — что если бы ты попросил свою милую очаровательную принцессу пожарить нам немного кровяной колбасы?

— О, стыдитесь, Патрончики вы этакие, — сказал папа. — Неужели ее королевское высочество должна стоять у плиты, когда в дочерях у нее две великовозрастные девицы?!

После чего Патрончики — это мы — ретировались на кухню и посвятили себя приготовлению еды — разумеется, ненадолго. Но все это время мы слышали из спальни папины пылкие изъяснения, прерываемые то одной, то другой успокаивающей репликой мамы.

Наконец, после долгих «если» и «но», появился, держа в объятиях маму, совершенно измученный папа. Он, словно обезумев, танцевал с ней по всей кухне и повторял, что недопустимо иметь в доме таких красавиц крестьянок. И потом в состоянии всеобщей радости мы ели кровяную колбасу. Но посреди всего этого веселья мама спросила:

— А как будет у девочек со школой?

Папа об этом даже не подумал, да и мы тоже. На мгновение всем показалось, что весь его план рухнет из-за нашей злосчастной школы. Папа рвал на себе волосы и горестно восклицал, что он-де не в силах добыть средства оплатить наш пансион в городе. Но тут Черстин и я решительно покончили с этим делом и сказали то, что было чистой правдой: мы полагаем наше воспитание практически законченным. Если уж ты, с трудом одолевая науку, проберешься так далеко — аж до второго годичного курса гимназии^[6], то тебе известно все, что нужно знать о местоименных наречиях «en» и «у» во французском языке, и почему глагол «*nachfolgen*»^[7] требует существительного в дательном падеже в немецком языке, и как случилось, что эллинская культура так печально погибла, и все остальное в этом же роде.

— Все это дерьмо кошачье, — сказала Черстин, сделав величественный жест рукой, который мигом свел на нет и поставил на подобающее место всю систему школьного образования.

— И если даже, — вставила я, — студенческие шапочки никогда в жизни не украсят локоны наших черепушек, то маленькие простые и красивые беретика тоже будут нам к лицу!

Мама задумчиво покачала головой, но, поразмыслив как следует, тоже, вероятно, сочла, что поскольку мы никогда не приносили домой более высокой оценки, нежели В+^[8], то, может, не будет хуже, если мы покончим со школой вообще. Какой-либо невосполнимой потери для отечества, во всяком случае, не случится.

— Ура! — заорали Черстин и я, а папа снова засиял как солнце.

И только тут до нас дошло, что на самом деле происходит: мы поедем в усадьбу Лильхамра, в недостижимый, страстно желаемый, несравненный замок мечты нашего детства.

Моим внутренним взором я уже видела себя этаким *charmant*^[9] фрёкен из господского поместья, скачущей по округе верхом на благородных кровей коне или порхающей в танцах на умопомрачительных балах в помещичьих усадьбах. Но папа быстро вывел меня из этого заблуждения.

— Больше всего, мои дорогие Патрончики, вам придется работать, — сказал он. — И всем нам придется чертовски экономить! А также распрощаться с бурным и беззаботным городским существованием. Но зато вы унаследуете мои старые земляничные полянки, — продолжал он с

таким выражением лица, словно даровал нам целый миллион.

И он так долго и красноречиво распространялся об этих земляничных полянках, что мне довольно скоро стало ясно, что если я собьюсь с пути в этой жизни, так исключительно из-за того, что в детстве у меня не было собственных земляничных полянок.

— Это святейшее и неотъемлемое право каждого ребенка — иметь свои земляничные полянки! — уверял папа.

И эти его слова производили впечатление, будто земляничные полянки в усадьбе Лильхамра куда важнее, чем земледелие и даже скотоводство.

Вечера наши проходили теперь в веселой болтовне и сладостных мечтах о будущем, а папе пришлось снова поделиться с нами воспоминаниями своего детства. Они и всегда-то были одинаково новы и восхитительны, но теперь, поскольку мы знали, что вскоре увидим воочию все то, о чем он рассказывал, его слова становились для нас куда более живыми.

— Барбру, — вдруг сказала Черстин, — об этом надо возвестить всему изумленному миру! Какая потрясающая сенсация из жизни Патрончиков для снобов! Идем немедленно!

— О да! — сказала я. — Какие удивленные глаза они сделают, когда услышат, что мы проведем дни нашей жизни в большом господском поместье!

— Ты сказала, в *большом* поместье! — удивился папа. — Нет, моя девочка, Лильхамра невелика! Она с огромным трудом может прокормить пятнадцать коров, четырех лошадей, двадцать овец, несколько поросят и кур, одну принцессу и двоих Патрончиков. И старого отставного майора!

Вторая глава

Никогда не забуду я тот миг, когда впервые увидела усадьбу Лильхамра. Стоял мартовский день, дули ветры, канавы переполнились талой водой, а в воздухе веяло ранней весной. Мы приехали в автомобиле из маленького поселка в полумиле^[10] езды от усадьбы. Это тот самый поселок, который для нас — крайний форпост цивилизации. Именно там покупаем мы кофе и нейлоновые чулки, и именно туда мы ездим, когда верх над нами одерживает тоска по пирожным со взбитыми сливками.

Дорога была узкой и извилистой, она шла через лес, который, казалось, был взят прямо из альманаха «Среди домовых и троллей»^[11]. И она все время вела вверх. Холмы один выше другого громоздились перед нами, и напоследок мне в самом деле пришлось спросить папу, где находится наша усадьба — выше или ниже границы деревьев. Но разговаривать с папой было невозможно. Он сидел в машине согнувшись, упрямо уставившись в какую-то отдаленную цель и лишь время от времени давая нам кое-какие краткие пояснения, например:

— Маленьким я чуть не утонул в этой луже!

Или:

— На этой скале я однажды разорвал брюки.

И:

— С этой осины, когда мне было десять лет, я ободрал кору. И дедушка задал мне трепку!

Я попыталась представить себе, как выглядел папа в то время, когда с ним случались такие истории, но я соврала бы, сказав, что у меня это получилось. Разумеется, внутренним взором я видела, как он карабкается на осину или съезжает с горы на ягодицах. Но тот, кто обдирал дерево и съезжал с горы, был теперь довольно полным майором с намеком на седину на висках. А эта картина выглядела довольно забавно. Хотя и приятно было знать, что именно твой папа когда-то бегал здесь по всей округе. И я почувствовала что-то похожее на прилив нежности к той осине, с которой он ободрал кору.

Так мало-помалу перед нами открылся лес, и по обеим сторонам дороги мы увидели заросли чернолесья и поля, где как раз таял последний снег. В конце концов мы проехали аллею высоких тополей, и я увидела, как папа форменным образом застыл от напряженного ожидания. Вдруг автомобиль резко затормозил. Вот тут-то и находилась та отдаленная цель, к которой папа стремился. Тут находилась Лильхамра. Чуть не задохнувшись, я всеми фибрами души впитывала развернувшуюся перед нами панораму: низкое белое одноэтажное здание с проломленной крышей. Множество мелких оконных стекол пылали как огонь в отсветах заходящего солнца. Два флигеля. А высоко над крышей усадьбы две огромные липы вздымали свои голые вершины навстречу весеннему небу.

Я не смела смотреть на папу, так как знала, что на глазах у него слезы! А хуже этого я ничего не знаю! Но... довольно странно... на самом деле я тоже была немного тронута и почему-то испытывала ощущение, словно вернулась домой. Думаю, Черстин чувствовала примерно то же самое, потому что она подозрительно помаргивала ресницами.

Какие бы чувства ни испытывала мама, она их не выказывала.

— Поездка окончена, — только и сказала она, вылезая из автомобиля.

— Да, — подхватил папа, — здесь мы останемся, пока не переселимся на кладбище.

У калитки стоял невысокий толстенький человек лет пятидесяти, с золотисто-льняными волосами и дружелюбнейшими светло-синими глазами. Он поздоровался со всеми нами за руку, и папа представил его. Звали толстячка Юхан Русенквист, и был он своего рода старостой на полевых работах и в усадьбе. Тогда я еще не знала, что он станет одним из моих лучших друзей.

Мы поздоровались и с другими обитателями усадьбы: со скотником весьма скромного вида — его звали Ферм — и с его женой, выглядевшей явно более решительной, а еще с их детишками; детишек была примерно дюжина. Далее имелся еще один работник, веселый и краснощекий, по имени Улле. Папа оставил их в усадьбе, унаследовав всех от арендатора. Кроме того, папа нанял «одну из самых великолепных, — по его словам, — юных девиц округи» в качестве служанки. Звали ее Эдит, и она прибыла тем же утром, чтобы затопить в доме и сварить кофе к нашему приезду.

Лильхамра с первого взгляда понравилась мне решительно и бесповоротно. Понравился мне и Юхан из-за его дружелюбных глаз, и Ферм за его непритязательность, и Улле за его веселость. Некоторое время я колебалась, прежде чем решить, нравится ли мне и фру Ферм, но, в конце-то концов, человек ведь может быть настоящим лучом солнца, даже если он чуточку малопривычен с виду.

С трепетом и сомнением переступила я порог усадьбы. Откуда мне было знать, как там в доме! Но вскоре нам с ужасающей очевидностью стало ясно: там по меньшей мере уныло. Семья арендатора махнула на все рукой и долгие годы не платила аренду, папа тоже махнул рукой и перестал оплачивать ремонтные работы, а семья арендатора снова махнула рукой и уехала, не убрав за собой.

— Упаси Бог!.. — были первые слова, которые произнесла мама.

Папа явно безумно нервничал. Когда пускаешься в путь с маленькой прелестной принцессой в замок своей мечты, становится немного досадно, если обои развеваются, словно флаги, а во всех углах огромные крысиные норы.

— Мы все отремонтируем, милая Мауд, мы все отремонтируем, — боязливо заверял папа.

— Да, хотела бы я в это поверить, — чрезвычайно твердо произнесла мама.

— Добро пожаловать! — поздоровалась с нами на кухне Эдит.

Ее веселая ухмылка обнажила всю челюсть. У нее и в самом деле был сварен кофе, показавшийся нам великолепным, ведь даже когда мартовский ветер тепловат, все равно окоченеешь. Мама ходила по всему дому, осматривая его придирчиво-пристрастным взглядом хозяйки, заставлявшим папу дрожать, как испуганное животное.

— Такую изысканно скверную железную плиту надо еще поискать, — сказала мама, постучав по дымогарной трубе, да так, что в воздухе закружилась сажа. — И не очень удобный кухонный шкаф, — добавила она.

Затем, взглянув на потолок, мама заметила:

— Пожалуй, неплохо, когда в крыше пролом, но, по-моему, он не должен быть *настолько* большим, чтобы в доме шел дождь, так мне кажется.

После такого высказывания мы забеспокоились точь-в-точь как и папа. Подумать только, а что если Лильхамра так плоха, что мы не сможем здесь жить! Больше всего я переживала из-за папы, потому что знала, как он радовался нашему переезду, да и мы тоже. Но папа абсолютно не в состоянии радоваться тому, что не одобряет мама, и он выглядел ужасно подавленным, когда, обняв ее за плечи, спросил:

— Как по-твоему, мы сдадимся без боя, бросим все это и попытаемся продать усадьбу или сдать ее другому арендатору?

— Сдадимся?! — удивленно воскликнула мама. — Сдадимся?! Ты с ума сошел!

Затем, потерев руки, воскликнула:

— *Как чудесно* взяться за дело и навести здесь чистоту и порядок!

Тут мы — папа, Черстин и я — испустили такой вздох облегчения, который, уверяю вас, слышен был во всей округе.

— Но это будет стоить колоссальных денег, прежде чем у нас будет так, как мы хотим, —

добавила она.

Папу это не обеспокоило, по крайней мере тогда. Он сразу же невероятно оживился, заговорил о «белом доме моего детства» и стал шумно декламировать:

— Прислушайся к шелесту ели, у подножья которой твой домашний очаг!

И мы вошли в так называемую залу, простирившуюся вдоль почти всей задней части дома.

— Это, — сказала мама, — самая красивая комната, какую я когда-либо в жизни видела.

Поскольку обои выглядели там еще хуже, чем в остальных комнатах, если только это возможно, а краски на дверях и окнах все равно что не было вовсе, я сначала подумала, что мама пошутила. Но явно — нет, потому что, приглядевшись получше, я тоже увидела, что это на самом деле *была* красивая комната, в меру пропорциональная, с уютным открытым очагом у одной из продольных стен, со встроенными книжными полками, которые семья арендатора явно использовала, судя по следам пыли, как место хранения лучшего своего фарфора. А какой вид открывался из окон! Вечернее солнце струилось в залу, а за окнами раскинулся парк с вековыми деревьями, ветви которых резко и отчетливо вырисовывались на фоне неба. Вдали, между деревьями, виднелось озерцо с плавающими глыбами льда.

— Это будет наша общая комната, — сказала мама. — А маленькая комната, ближайшая к кухне, — столовая.

Оставались лишь три комнаты и боковушка для прислуги, потому что Лильхамра в самом деле небольшое имение. Папе нужен был рабочий кабинет, одна комната предназначалась для спальни, а еще маме ужасно хотелось иметь наконец-то совершенно отдельную комнату для себя. Это выглядело угрожающе для меня и Черстин. Но тут папа сказал:

— Патрончики будут жить в правом флигеле!

Черстин и я обменялись взглядом, полным взаимопонимания. Никаких громких торжествующих завываний, ни в коем случае никаких завываний! Мы попытались сделать вид, что нам абсолютно безразлично, где жить. Но тут папа, задумчиво нахмутив лоб, продолжил:

— Хотя, может, не так уж это и хорошо, потому что тогда мы потеряем над ними всякий контроль!

— Думаю, что Черстин и Барбру отлично могут контролировать самих себя, — спокойно сказала мама.

— Во всяком случае, я абсолютно готова за небольшую плату взять на себя контроль над Черстин, — сказала я.

— Я понимаю, что вы страшитесь за Барбру, — вступила в разговор Черстин, — но ее вы абсолютно можете доверить моим надежным рукам. Будьте уверены, я стану внимательно наблюдать за ней! Так и запишите!

Нам, естественно, пришлось тотчас же ринуться в правый флигель, чтобы осмотреть наше будущее жилище. Правый флигель состоял из двух комнат с маленькой прихожей между ними. Там все тоже изрядно пришло в упадок, но мы прыгали от радости при мысли о том, как все будет выглядеть, если только удастся осуществить наши идеи по обустройству флигеля. Мы бросили жребий, кому достанется комната с утренним солнцем, а кому — с послеполуденным. Мне досталось утреннее солнце и вишня под окном, зато Черстин, кроме послеполуденного солнца, получила очаровательнейшую печь и самый лучший платяной шкаф.

Когда мы решили этот вопрос, пришел папа и спросил, не хотим ли мы пойти с ним на скотный двор и в конюшню познакомиться с четвероногими обитателями усадьбы Лильхамра. Мы охотно согласились. Юхан Русенквист присоединился к нашему обществу, чтобы, так сказать, представить нас всем лошадям, коровушкам и телятам.

Черстин и я тотчас завели с ним оживленный разговор, и я вежливо спросила:

— Давно ли вы, господин Русенквист, живете в усадьбе?

— С тех самых пор, как ихний папа и я стреляли ворон из ружья ихнего папы, что висит в гостиной, и сооружали водяные колеса в ручье Стурбэккен^[12], — ответил господин Русенквист. — А вообще-то никакой я не господин, а звать меня всего-навсего Юхан.

— Мы с Юханом совершили вместе немало хулиганских проказ, уж поверьте мне, — сказал папа. — И пожалуй, с ними еще далеко не покончено.

Совершенно естественно оказалось называть его просто Юхан, а он звал нас либо по имени, либо «она» и «ей».

— А теперь ей надо поглядеть на быка, — сказал он мне, когда мы пришли на скотный двор и нам в нос ударил тепловатый запах хлева. Бык показался нам огромным великаном, и, если верить маленькой черной табличке, висевшей над его стойлом, имя быка было Адам Энгельбрехт.

— Адам Энгельбрехт — такое честное имя^[13], — сказал папа.

Мы ходили повсюду и осматривали все — коров и телят, лошадей, овец и поросят. Папа казался очень довольным, но, быть может, чуточку обеспокоенным. Он оставил себе всю живность и все хозяйство арендатора, животных, машины, инструменты, снасти... «А снасти все, одно слово, дерьмо», — сказал Юхан скорее правдоподобно, нежели так, как подобает воспитанному человеку.

— Да, здесь придется выкладывать денежки, — повторил папа точь-в-точь те слова, которые произнесла мама.

И эти слова звучали тревожно именно потому, что их произносили непрерывно.

В конце концов мы познакомились со всеми живыми существами в усадьбе Лильхамра. Единственный, с кем не пришлось поздороваться, был семейный призрак, фамильное привидение — Черная дама, которой папа, сводя нас с ума, пугал Черстин и меня, когда мы были маленькими. По вечерам он обычно сидел на краю нашей кровати и наводящим ужас глухим голосом рассказывал о том, как она каждый год под Рождество ровно в двенадцать часов являлась в парке усадьбы.

— Каждую рождественскую ночь она делает один шаг, а когда в конце концов переступит порог дома, он сторит дотла, — говорил папа, вращая глазами, пока не приходила мама и не давала ему основательную взбучку за то, что он портит наши нервы и ночной сон. Папа же уверял, что сам однажды видел Черную даму, и теперь мы попросили его показать то место, где это произошло, так как были серьезно обеспокоены тем, что Лильхамра может в любой миг сгореть. Показания папы были несколько неопределенны, но в конце концов он решил назвать отдаленный угол парка. Мы немедленно отмерили шагами расстояние до нашего жилого дома и пришли к приятному выводу, что Лильхамра, при нашей жизни во всяком случае, не сторит, если только эта злобная коварная старуха не примется осквернять ночь под Рождество, бегая и делая тройные прыжки, как спортсменка. Мы между тем решили, на всякий пожарный случай, в следующую ночь под Рождество выйти в парк и показать ей страховку от пожара и пожарный насос. Тогда, быть может, она чуточку успокоится и возьмется за ум.

Солнце зашло, дул резкий пронизывающий ветер. Взяв папу под руки, мы пошли к маме. С помощью Эдит она распаковывала самые необходимые вещи. В доме было холодно и жутко неуютно.

— От вас пахнет скотным двором, — констатировала мама.

— Да, с этих пор запах хлева станет нашими духами, — твердо пообещал папа.

Мы немного поели из провизии, что взяли с собой, и выпили горячего чая, чтобы согреться. Потом нужно было лишь попытаться найти себе среди всех этих чемоданов место для сна. Я никак не могла отыскать свою зубную щетку, а пижама оказалась влажной. Черстин и я поставили рядом — посреди столовой — две раскладушки. А когда сосчитали, сколько оконных

стеколец в комнате (что необходимо делать всякий раз, когда спишь на новом месте, если хочешь увидеть сон, который потом сбудется), мы легли между холодными простынями и попытались поверить, что это чудесно! Никаких штор не было, и мрак стеной стоял за окнами. Шелестели верхушки деревьев, и я подумала: женщины капризны, так что кто его знает — не явится ли сюда, вопреки всему в середине марта, делая широкие шаги, Черная дама.

А дома, на Стургатан, как раз теперь было светло. Наверняка сейчас там Бенгт и Йёран прогуливаются и забыли уже Черстин и меня. «Ха, — с горечью подумала я, — теперь у Гарриет и Лены, вероятно, появился наконец шанс». А вечером состоялась премьера в Гранд-театре. Я вздохнула.

— Не будешь ли ты, Барбру, столь любезна проспрягать глагол *mourir*^[14], — услышала я голос с соседней раскладушки.

И не знай я, что это Черстин, я подумала бы, что наша учительница французского языка лежит там, ведь Черстин абсолютно точно, тютелька в тютельку, скопировала ее манеру говорить и ее слова.

— Охотно, — ответила я. — При условии, что Черстин сделает сначала доклад о возникновении нововавилонского государства, — продолжила я, пытаясь говорить как лектор^[15] Линдберг.

— А ты, Барбру, не перечислишь ли несколько растений из семейства масличных? — поинтересовалась Черстин.

Она говорила уже на сконском^[16] наречии, как наш учитель биологии.

— А ты, Черстин, может, заткнешься, чтобы можно было заснуть? — сказала я, потому что теперь наконец, когда я заставила себя задуматься, мне стало совершенно ясно: будет ли премьера в Гранд-театре или нет — прекрасно жить в усадьбе Лильхамра. А теперь я хочу только спать, только спать...

Третья глава

Ах какое время! Какие дни были в первые недели нашей жизни в усадьбе Лильхамра, какое время! Это была борьба не на жизнь, а на смерть со всякого рода ремесленниками — столярами, малярами и обойщиками. С рабочей силой было туго, и, когда маме наконец удалось заманить в дом двух столяров и соблазнить их взяться за дело и настлать новый пол на кухне и они уже сорвали большую часть старого, тут-то оба старика и устроили небольшой перерыв, чтобы построить новый скотный двор в совершенно противоположном конце прихода. Правда, тогда они, разумеется, ничего не знали о том, какой, собственно говоря, личностью была мама. Как только они узнали об этом — произошло это довольно скоро, после того как мама навестила их в один прекрасный день в самый разгар строительства скотного двора, — они тотчас же, бросая испуганно-косые взгляды на маму, вернулись, чтобы настелить пол в нашей кухне.

В доме стоял ужасный запах клея и краски. Мы бродили по всему дому, бросая убийственные взгляды по сторонам, и повсюду натыкались на ведра красок, а иногда на голову падала деревянная колода. Мама, одетая в комбинезон, командовала битвой, как настоящий полководец. Она воодушевляла свои войска, перемежая добрые советы жуткими угрозами. Она рисовала стенные кухонные шкафы, выбирала обои и утешала папу, приходившего в отчаяние при мысли о том, сколько денег будет стоить такой ремонт. Папа частенько сидел в своем кабинете, читая книги по земледелию, а для нас было безумным удовольствием видеть, что кто-то так неистово занимается зубрежкой. Время от времени мама заходила к нему с каким-нибудь новым счетом, и мы слышали, как он издавал мучительные стоны: «О-о-о-ох!», сила и горечь которых приумножались в зависимости от суммы счета.

Черстин и я, правда, тоже не сидели сложа руки. Хотя за стенами дома было много соблазнительного и притягивавшего нас, но именно сейчас у нас на это времени не было. Мама была полностью занята своими ремесленниками. Эдит приходилось помогать, когда доили коров, обихаживать кур и делать тысячу разных других вещей, так что на нашу долю выпадало довольно много работы: мы мыли посуду, готовили еду и убирали дом. Но как бесконечно прекрасно было делать что-то своими руками! Я совершенно не мечтала вернуться обратно за школьную парту, где нужно спокойно сидеть, пока не почувствуешь, что все тело твое окостеневаает и тебя начинает обуревать страстное желание кричать и размахивать руками. Я блаженствовала, бегая в постоянной спешке, и восхитительное чувство удовлетворения охватило нас, когда мы постепенно начали наводить порядок в хаосе дома. В конце концов порядок был наведен. Когда последний ремесленник наконец пустился в путь по аллее, чтобы уже никогда не возвращаться обратно, мы вздохнули с чувством глубокого облегчения, а Эдит, Черстин и я взялись за работу — вымыли все полы в доме и смыли всю краску с оконных стекол.

— У меня руки шершавые, словно наждачная бумага, — пожаловалась Черстин. — А у тебя?

— Убедись сама, — сказала я, проведя своей красной и мокрой ручищей по ее щеке. — Если мои руки не бархатные, то наверняка что-нибудь в этом роде.

— Такая пустота: идешь, а стружка не цепляется за пальцы ног, — сказала Черстин, оглядываясь в нашей свежeweымытой кухне.

В теперешнем виде кухня была такой отрадой для глаз! Она казалась попросту совсем другой кухней, а вовсе не той, что мы увидели по приезду в усадьбу Лильхамра. Теперь здесь была новая красивая железная плита, новый пробковый ковер лежал на полу, практичные и удобные шкафы стояли у голубых крашенных стен, а над всем возвышался побеленный потолок.

На окнах висели маленькие прелестные хлопчатобумажные занавески в мелкую голубую и белую клетку, а на большом столе красовалась новехонькая клеенка, — там мы и сидели, закончив работу, Эдит, Черстин и я. Эдит поставила на стол кофе и свежее испеченные булочки. Мы макали булочки в кофе и обменивались с Эдит мыслями о жизни и любви. Эдит выказала большую осведомленность как в том, так и в другом вопросе. Она была к тому же такая веселая, что нам даже не хотелось расстаться с ней, когда пришла мама и спросила, не хотим ли мы пойти посмотреть общую комнату. Там мама пребывала в полном одиночестве весь день, и нам не терпелось увидеть результаты этого затворничества. Папа сидел в своем кабинете, погруженный в чтение книги «Учение о домашних животных», часть первая, но мы потянули его за собой, и, когда мама распахнула двери в общую комнату, ощущение было, я думаю, примерно такое, словно сейчас увидишь, как поднимается занавес на гала-премьере в опере.

То была красивая комната! То была неописуемо красивая комната со светло-золотистыми стенами и цветными кретоновыми шторами на окнах и со всеми нашими книгами на встроенных книжных полках! А на одной из стен — портреты дедушки и бабушки, которые наконец вернулись туда, где им, собственно говоря, и надлежало висеть. В открытом очаге горел огонь, а на журнальном столике стояла белая чаша с фиалками, которые Черстин и я в тот день собрали в парке. Мы сели всей семьей на диван перед огнем, и папа сказал маме:

— Ты была прилежна, моя милая девочка, ты была необычайно прилежна!

— Ну а мы разве нет? — спросили Черстин и я, вытянув наши отмеченные тяжким трудом кулачищи.

Мы ведь думали, что и мы тоже действительно заслуживаем хотя бы маленькой похвалы. И мы получили ее. А потом мама хвалила папу за множество разных дел, а папа начал пыхтеть, как петух, и поклялся, что осенью, прежде чем опадут листья, Лильхамра станет самым красивым и самым ухоженным имением во всей округе. Мимоходом коснулся он небольшой части своих планов, и мне показалось, что понадобится по меньшей мере несколько жизней для того только, чтоб осуществить хотя бы половину из задуманного им. Мама, конечно, одобрила далеко не все, но когда он сказал, что велит оборудовать финскую сауну в старой пивоварне, она проявила большой энтузиазм. И наоборот, не согласилась с его предложением устроить псарню для овчарок. А когда папа заявил, что хочет построить еще и несколько теплиц — выращивать в больших масштабах помидоры, она, словно защищаясь, отмахнулась рукой, хотя папа уверял, что это принесет большое состояние.

Когда огонь погас, а папа благодаря маме уразумел, что ему следует и чего не следует делать, настало время пойти в наши комнаты в правом флигеле, которые папа окрестил «Гнездовье Патрончиков». Мы уже полюбили наше Гнездовье страстной любовью, какую испытываешь только к чему-то абсолютно своему собственному. Нам в известных границах разрешили обставить наши комнаты точь-в-точь так, как мы хотели, и мы сами выбрали себе обои и шторы.

Левый флигель стоял заколоченным аж со времен дедушки. Он не вошел в договор об аренде, так как был нужен дедушке, чтобы составить там мебель, которую он не мог взять с собой в город, но с которой не желал расстаться. Все эти годы мама с папой знали, конечно, что там стоит мебель. Однако же для Черстин и меня это было примерно то же, что открыть золотые прииски в угодьях усадьбы Лильхамра, когда в один прекрасный день мы во главе с мамой впервые отворили скрипящую дверь левого флигеля и сунули наши любопытные носы в затхлую, пахнущую пылью темноту флигеля. Войти туда было все равно что отправиться в какую-нибудь исследовательскую экспедицию. Мы позвали Улле на помощь, и при дневном свете он выуживал нам из флигеля разную мебель. Часть ее оказалась просто хламом, многое уничтожено в потоке времени, но часть мебели была такова, что самой маме пришлось выразить

свое восхищение в восторженных восклицаниях. Самые красивые вещи, конечно же, конфисковала мама. Они потребовались ей, чтобы заполнить большие комнаты в главном здании. Но нам, в наши полные ожидания кулачки, тоже перепали кое-какие крошки с господского стола, и мы целый день надрывались — таскали мебель и без конца расставляли и переставляли ее, пока наше Гнездовье не стало наконец таким, каким мы его задумали.

Кровати полированного орехового дерева из спальни дедушки и бабушки мы взяли себе, распрощавшись без всякого сожаления с двуспальным диваном — местом нашего отдохновения в городе. Большая битва разгорелась из-за старого бюро с откидной крышкой, которое мы обе хотели взять себе. Черстин утверждала, что, поскольку она на десять минут старше меня, у нее на бюро право первородства. Эти десять минут она извлекает всякий раз, когда появляется что-то, чем ей хочется завладеть. Я ответила Черстин, что считаю подобные речи предательским фокусом с ее стороны и что она, как более старшая и более разумная, должна уступить это маленькое несчастное бюро своей младшей сестренке. Но поскольку Черстин так упрямо настойчива, а я всегда питала уважение к старости, то я, так и быть, вместо бюро удовольствуюсь красивым письменным столом красного дерева. И не успела она опомниться, как я поспешно конфисковала еще и маленькое удобное кресло-качалку, в котором мечтала, качаясь темными осенними вечерами, укрыться от всех беспокойств и горестей этого мира. Большая часть нашей белой мебели из детской и той, что мы привезли из города в усадьбу, досталась Эдит. И она была так рада, считая, что мы просчитались, совершив такой дурацкий обмен! Мы сохранили только книжные полки, на которые выстроили все наши книги. Черстин хотела сложить учебники в чемодан, стоявший в платяном шкафу, но я решила выставить свои на полку, потому что все-таки не хотела абсолютно забыть школу, одноклассников и учителей, а кроме того, ведь книги эти стали постоянным источником радости оттого, что их никогда больше не надо будет читать. А ведь еще можно себе представить, что в один прекрасный день обнаружишь вдруг пробел в своих знаниях, пробел, который необходимо восполнить!

Ведь Черстин и я никогда не были особо прилежны в школе, но никто не может отрицать, что мы были чрезвычайно искусны в практической домашней работе. Мы сами сшили шторы, мы украсили кровати орехового дерева кольщущимися воздушными пологам, несмотря на слова Эдит, что это лишь собиратели пыли. Когда мы потом получили несколько лоскутных ковриков, которые мама купила у одной старушки-торпарки, ткавшей их, мы так радовались нашему Гнездовью, что думали: никаким девочкам на всем земном шаре не живется так уютно, как нам!

— Все-таки не так уж глупо быть «charmant фрёкен из господской усадьбы», Черстин, — сказала я, и она была абсолютно со мной согласна.

Четвертая глава

Нет, не так уж глупо! Но потребовалось немало труда, чтобы начать новую жизнь. Во всяком случае, никто не работал так, как папа! Ему ведь пришлось на старости лет осваивать совершенно новую профессию, и он принялся за дело с таким усердием, что его рвение было просто трогательно. Он просиживал полночи, читая о кормовых культурах и дренаже, о самых характерных заболеваниях домашнего скота, и с детским доверием обращался к окрестным крестьянам за помощью и советом. Особенно прилепился он к нашему ближайшему соседу, адвокату Самуэльссону из усадьбы Блумкулла^[17], и всякий раз, когда заседатель появлялся в наших краях, папа, словно ястреб, набрасывался на него и буквально заставлял заглянуть к нам выпить кофе, а когда ему удавалось втиснуть Самуэльссона в кресло у себя в кабинете, он ухитрялся выжать из него небольшую лекцию о самых лучших составах минеральных удобрений на глинистых почвах и вдобавок еще о многом другом. Теперь, принося в папин кабинет поднос с кофе, я уже никогда не слышала ничего другого, только «калий», «чилийская селитра», «суперфосфат». Казалось, минеральные удобрения буквально кружатся в воздухе, а папа взирает на Самуэльссона, словно маленький школьник на высокочтимого учителя.

Юхан также старался изо всех сил помочь папе постичь тайны земледелия. У папы было, пожалуй, множество безумных проектов, и когда он излагал их Юхану, то неизменно получал один и тот же ответ:

— Па мне, дак ему энто дельть ни к чаму!

В конце концов папино терпение лопалось, и он рычал:

— Кто, собственно говоря, здесь хозяин — я или ты, Юхан?

И Юхан невозмутимо спокойно, как всегда, отвечал:

— Видать, вы, майор! Только па мне, дак ему энто дельть ни к чаму!

А после того как Юхан скажет свое слово, дискуссию можно считать оконченной.

Все больше и больше крестьян из окрестных усадеб время от времени являлось к нам. Думаю, прийти сюда и помочь невежественному майору из усадьбы Лильхамра превратилось для них в настоящее народное гулянье. Как приятно, должно быть, выложить все свои познания тому, кто так благоговейно тебя выслушивает! Папа, естественно, совершал множество ошибок, о которых наверняка рассказывали и разглагольствовали на пирах во всем приходе, а прежде всего на молокозаводе в поселке, куда все крестьяне свозили молоко от своих коров и где они каждое утро блистали друг перед другом. Черстин и я тоже привозили молоко из нашей усадьбы. Вначале с нами ездил и Юхан, потому что никто по-настоящему не верил, что мы можем править лошадьми. Но в конце-то концов, мы ведь дочери кавалериста, и вот так малопомалу нам начали целиком и полностью доверять развозку молока. Вставать по утрам надо было рано, и мы с Черстин ездили на молокозавод по очереди. Каждый второй день мы высыпались. Развозить молоко было весело, и на дворе молокозавода мы перезнакомились почти со всеми крестьянами здешних мест. Я, широко раскрыв глаза и наострив уши, слушала все их разговоры — за всю свою молодую жизнь я никогда не встречала такого множества веселых и занимательных людей, да еще с таким чувством лукавого юмора. Они были и благожелательны, и добры! Почти все... Но однажды, когда я остановила лошадку Блуккен на дворе молокозавода, я услышала, как крестьянин из усадьбы Лёвхульт^[18], стоявший спиной ко мне, говорил в самом что ни на есть надменном тоне:

— Этаким крестьянин-барин! В земледелии он смыслит куда меньше моего... Ну и чудно-то будет, коли он не разорится!

Я поняла, что они говорят о папе. Ну и разозлилась же я в ту минуту! Просто жуть! И

подумала, что не стану, черт возьми, просить помочь мне отнести бидон с молоком. Я изо всех сил пыталась снять его с повозки, но почувствовала, что мои жилы вот-вот лопнут. Тут подоспел крестьянин из Лёвхульты и, презрительно ухмыляясь, поднял бидон и поставил на землю, а я не успела помешать ему. И надо же, чтобы именно он помог мне!

— Спасибо, — как можно нахальней поблагодарила я его, пытаясь одновременно выглядеть так, словно и я, и все мое семейство сдавали на прошлой неделе экзамен в Альнарпском высшем сельскохозяйственном училище. А потом я на огромной скорости помчалась домой, пошла прямо к папе и излила ему все свое негодование, но он только рассмеялся и сказал, что крестьянин из Лёвхульты имеет полное право выказывать свое превосходство, потому что на самом деле он — человек профессионально сведущий, чего нельзя сказать о моем папе.

— Однако, — заявил папа, — если я какое-то время буду делать эту работу, то я во всяком случае буду знать о земледелии не меньше семейства из Лёвхульты, а это ведь всегда цель, к которой движешься.

Как уже говорилось, мне нравилось возить молоко на молокозавод. По дороге туда я с бешеной скоростью мчалась вниз по склонам всех встречных холмов. Молоко плескалось в бидонах, ну просто одно удовольствие, а я всерьез беспокоилась, что, пока я доеду, оно, сбиваясь, превратится в масло. Поездка домой тоже была чудесной. Весна в этом году наступила рано, и, пока Блаккен трусила тихой рысью в гору, я сидела опустив вожжи и предавалась изумительным наблюдениям, меж тем как солнце грело мне спину. С верхушек деревьев слышались трели зябликов и синиц. Пахло смолой, и влажным мхом, и лошадьёю. Я ощущала свою близость с землей и была счастлива так, как никогда прежде, и думала сделать что-то важное, отблагодарить жизнь, такую добрую ко мне. Я принимала самые разные возвышенные решения: попытаться тоже быть доброй и приятной и не доставлять никаких неприятностей маме с папой, никогда не огрызаться в беседах с Черстин или с кем-нибудь другим... И когда я в конце концов, дребезжа бидонами, катилась на повозке по аллее и сворачивала на скотный двор, я была так тронута своим собственным благородством, что чуть не плакала. Надо же!

Если повезет, можно успеть задержать Юхана, прежде чем он отправится в наши уголья. Дорогой Юхан! Часок беседы с ним — именно то, что нужно. Удивительно — Юхан узнавал обо всем, что творилось в околотке, почти в тот самый миг, когда это случалось. Он знал всех и каждого, а прежде всего — каждую лошадь на расстоянии многих миль в округе, потому что лошади были его страстью и он, слыша ржание, догадывался, кто из крестьян проезжает мимо. Когда у нас было время, Черстин и я следовали за ним по пятам, как две собачонки, и поэтому знали, что делается в нашем приходе, а кроме того, колоссальное количество еще более полезной информации запечатлялось в наших невежественных черепушках. Юхан был очень привязан к папе и не скрывал своего восхищения мамой. Стоило ей появиться поблизости, как он с наслаждением вдыхал слабый аромат духов, постоянно овевавший ее, а потом с явным одобрением говорил нам — мне и Черстин:

— Дух от ее, как от цельной аптотеки!

Однажды он повредил себе палец, и мама провела его в свою маленькую комнатку, чтобы перевязать рану.

Остановившись на пороге, он глубоко вздохнул и сказал:

— Хе-хе, ну и дух здесь... пахнет курениями да лададаном. Хе-хе!

Несмотря на свои пятьдесят лет, Юхан был холостяком и собирался, по его словам, оставаться им и дальше. «Покедова голова у меня на плечах», — говаривал он.

«Живу я по своей поговорке, — добавлял Юхан, — „Негоже мушшине жить одному, но энто куда лучше“. И так-то горя не оберешься, даже если ты неженатый», — повторял он работнику Улле.

Тот тоже был холостяком, но не желал пребывать в этом звании хотя бы минутой дольше, чем требовалось для того, чтобы уговорить Эдит пойти с ним к священнику. К сожалению, Эдит бурно сопротивлялась его сватовству. Она не желала выходить замуж второпях, а когда тот час настал, у нее кроме предложения Улле оказалось по крайней мере еще несколько, из которых она могла выбирать. В усадьбе Блумкулла был работник — злейший соперник Улле, и ему-то Улле и сказал, что убьет его, лишь только у него выдастся свободное время. Так что, может, просто повезло, что у Улле, как и у всех прочих в усадьбе Лильхамра, руки всегда были заняты. Постоянно находилась масса работы, которую надо было переделать, да и случалось что-то постоянно. В один прекрасный день, например, у кобылы Сиккан появился жеребенок. Когда утром мы вошли в конюшню, то увидели, что маленькое очаровательное золотисто-коричневое чудо с гладкой бархатистой мордочкой совершенно неожиданно уже стоит на нетвердых ножках рядом с матерью.

А на другой день у коровки Аудхумбы, которую Черстин и я перекрестили в Эльхумлу [\[19\]](#), началось воспаление вымени. Так что случались не одни лишь приятные события. Пришлось тут же послать за ветеринаром. Он явился, страшно торопясь, и ему пришлось разрезать один сосок у Эльхумлы. Ферм и Юхан помогали держать корову, а Черстин и я, стоя на почтительном расстоянии, внимательно смотрели. Но как раз в самый решающий момент Юхан на секунду расслабил руки, и ветеринар жутко разозлился. Он отчитал Юхана так, что от сострадания к нему у меня по-настоящему защемило сердце, и я подумала, что теперь-то уж Юхан, верно, огорчится. Но не тут-то было. Когда ветеринар закончил свою работу, на миг наступила тишина. А Юхан, повернувшись к Ферму, вежливо и спокойно спросил:

— Ты слышал, чаво он тут тьяквал? Я дак ничаво не слышал.

Черстин и я вечно чуточку страшились того, что вдруг нагрянет какой-нибудь мор и начнется падеж скота. Ведь до чего тогда будет беспокоиться и огорчаться папа! Думаю, он с удовольствием навлек бы какую угодно, даже самую страшную хворь, даже чуму, на себя, только бы животные были здоровы. Но не всегда так случалось. Один за другим рождались в усадьбе телята и подышали чуть ли не в ту же минуту, и папа горевал так, словно погибала его собственная плоть и кровь, его дети. Чтобы все телята не почили в Бозе от этого таинственного недуга, ветеринар прописал новорожденным два вида зелья: то, которое вливали теленку с помощью воронки через пару часов после его рождения, и для наружного употребления, которым его растирали. Средство это оказалось прекрасное! Телята оставались в живых, а папа ликовал. Но через некоторое время мы узнали, что Ферм, более старательный и скромный, нежели смышленный, перепутал зелья и вливал в телят то, которым их надо было растирать, и наоборот. После этого лечения мне так и не удалось вернуть мою детскую веру в ветеринарное искусство.

А еще была у нас большущая толстенная свиноматка, которая к тому же вбила себе в голову, что ей надо приумножать свое потомство и заполнить поросятами всю землю. Но поскольку эта тварь прежде была так жестока, что загрызала своих собственных новорожденных детенышей, необходимо было денно и нощно сторожить ее. Юхан, Ферм и Улле все последние ночи, перед тем как ей опороситься, поочередно караулили ее в свинарнике.

Но днем им нужно было заниматься своей тяжелой работой, так что мы с Черстин предложили сторожить поросят. Мы просидели в свинарнике всю ночь, и, как назло, свинью угораздило произвести на свет одиннадцать розовых поросят именно в тот момент, когда мы завели оживленную дискуссию на тему: красиво ли, в самом деле, лакировать ногти или нет. Мы спасли малюток поросят от прожорливой пасти их мамы, переложив их поочередно за деревянную решетку, после чего совершенно разочарованная свинья, улегшись на бок, заснула.

Все было бы ладно и хорошо, не будь у папы такого множества денежных тревог!

Удивительно, сколько денег стоило возродить усадьбу и земледелие, сколько надо было прикупить всякой всячины, а ведь Лильхамра такая маленькая усадьба! Некогда это было самое большое поместье в приходе, но дедушка, а до него дедушкин отец — наш прадед — распродали огромные участки земли окрестным крестьянам. И теперь несчастная маленькая запущенная Лильхамра стояла в окружении великолепных огромных крестьянских усадеб, оснащенных доильными машинами, и тракторами, и сноповязалками, и всевозможной другой техникой, которой у нас не было и которую мы не в состоянии были приобрести.

Мы не раз слышали, как папа сетовал на то, что денег уходит слишком много, но в конце концов мы так привыкли к этому, что уже не обращали внимания на его жалобы. И по мере того как весна продвигалась вперед, мы с Черстин обнаружили, что в нашем гардеробе кое-чего не хватает. Возя молоко на молокозавод, я каждый раз видела в магазине Лёвберга при фабрике и в магазине «Мода» несколько действительно шикарных темно-синих брюк из манчестерского бархата с металлическими заклепками. Брюки эти, пожалуй, отлично подошли бы мне в прохладные вечера. А еще я подумывала о том, чтобы купить новую спортивную куртку. А еще ведь нужны были два-три летних платья. Чтобы смягчить наши просьбы к папе, мы решили начать с брюк. Однажды вечером мы неустрашимо ввалились к нему в кабинет и бесцеремонно заявили, что именно сейчас настало очень подходящее время купить нам две пары брюк из первоклассного манчестерского бархата с блестящими металлическими заклепками и по умеренной цене: всего 28 крон пара. Папа, онемев, смотрел на нас. Трагически, словно Гамлет в сцене смерти, вращая глазами, он протянул нам счет на минеральные удобрения. Счет был большим и мог, пожалуй, сломить кого угодно. Ты приходишь и просишь со всей доступной тебе благожелательностью пару брюк, а взамен получаешь семь тысяч килограммов минеральных удобрений, которые бросают тебе прямо в лицо! Мы оскорбленно отступили, чувствуя, что с нами поступили скверно, и в ближайшие дни мы были в жутком настроении и совершенно не склонны к работе. Но однажды вечером, когда мы, болтая, сидели в комнате Черстин, в дверь Гнездовья Патрончиков постучали, и вошла мама. Она принесла нам молоко и бутерброды, и мы неожиданно почувствовали настоящий голод. Пока мы ели, мама спросила:

— Черстин и Барбру, вам понравится, если мы переедем обратно в город?

От страшного испуга мы тут же разом перестали жевать бутерброды. Переехать обратно в город? Что мама имеет в виду? Да не хотим мы этого! Ни за какие коврижки!

— Лучше смерть! — заявила Черстин.

— Да, но подумайте, сколько прекрасного, чего мы не можем дать вам здесь, если хотим удержать за собой усадьбу, вы получили бы в городе! Бархатные брюки, например!

Мы с Черстин пристыженно посмотрели друг на друга.

— Поймите, — продолжала мама, — нам приходится экономить каждую монетку, чтобы справиться с делом, за которое взялись.

Мы с Черстин так и корчились на стульях. Такая чудовищная, кошмарная мысль до сих пор еще никогда не всплывала в наших головах: неужели нам вот так попросту придется покинуть усадьбу?

Но мама еще не до конца расправилась с нами. Она сказала: мы должны помнить — жизнь такова, что никогда нельзя получить все, чего желаешь. Нужно научиться отказываться от своих желаний и уметь выбирать. Надо жертвовать нужным, чтобы получить необходимое, а сейчас как раз самое необходимое для всех нас — Лильхамра. Я и Черстин только кивали, молчаливо соглашаясь с мамой. А потом она еще больше уничтожила нас, сказав: мол, они с папой заметили, что в последние дни мы стали упрямы, ленивы и всячески отлынивали от работы. А потом добавила: отказываться от вещей и всяких штучек-дрючек — пожалуй, этого еще недостаточно. Есть кое-что поважнее, и это — работа. Только тот, кто работает и учится любить

работу, может стать счастливым — так уверяла мама.

— Кроме того, — продолжала она, — ваш труд необходим усадьбе, и нам без вас просто не обойтись. Мы сможем сохранить усадьбу Лильхамра, если только все вместе с жаром возьмемся за дело, помните это!

Заключительный аккорд ее речи был эффектным и совершенно неожиданным.

— А эти брюки вы получите, — сказала она. — Потому что раньше были прилежны. А теперь — спокойной ночи!

Мы, Черстин и я, опомнились не сразу. Несмотря на обещание купить брюки, мы сидели с мрачным видом над стаканами с молоком. Нам, по крайней мере мне, было стыдно. Но потом, к счастью, я подумала о том, что говорила мама: мы, мол, были прилежны, и наша работа колоссально необходима усадьбе Лильхамра. И я сказала Черстин:

— Во всяком случае, это счастье — жить в усадьбе и рабским трудом зарабатывать деньги для старика отца!

Тут лицо Черстин просияло, и тени покинули наше чело.

Пятая глава

В один прекрасный день мы устроили себе выходной, поехали на велосипедах в поселок и купили те самые пресловутые брюки. Одновременно мы воспользовались случаем, чтобы выкроить свободную минутку. Почти два часа просидели мы в кондитерской и, до отвала наевшись разных печений и пирожных, превратились почти что в два четырехугольника. Мы входили в магазины и выходили оттуда, мы интересовались тканями, которые и не собирались покупать, мы просто шатались по улицам (там было их примерно две), заглядывая во все витрины.

— Быстро, — вдруг сказала Черстин, — взгляни, не высовывается ли из-под платья нижняя юбка, или, может, что-то не в порядке в нашей одежде?

Я посмотрела, но никаких отклонений от обычного не заметила.

— Чудесно, — сказала Черстин. — Значит, в том, что на нас оглядываются, виноваты исключительно наши красота и очарование!

Мысль об этом оживила нас до такой степени, что мы еще больше, чем когда-либо, задрали носы. Но как раз в тот момент, когда во время нашего триумфального шествия мы проходили мимо почтовой конторы, оттуда вышел молодой человек, который, в свою очередь, заставил нас вылупить глаза. Совершенно темноволосый, с загорелым лицом, он походил на жителя южных краев. На голове у него ничего, кроме беспорядочной копны локонов, не было. Одет он был в очень светлый trenchcoat^[20], а вокруг шеи с небрежной элегантностью был завязан шарф.

— Чур, он мой, я первая его увидела, — прошептала Черстин.

— Да, — с убийственной иронией сказала я, — ясное дело, ты увидела его первая. А вдобавок ты ведь еще на десять минут старше. Но даже если он, вопреки всем ожиданиям, заинтересуется такой ветхой старухой, как ты рассчитываешь с ним познакомиться? Надеюсь, дорогая Черстин, — и тут я заговорила в таком тоне, который сделал бы честь любой старой тетушке, — надеюсь, ты не принадлежишь к тому сорту девиц, которые заводят знакомства с молодыми людьми на улицах и площадях?

— Можешь быть совершенно спокойна, — с досадой ответила Черстин. — Но если он живет в здешних краях, то, возможно, встречи нам не избежать, ну так, постепенно.

— Да не живет он в здешних краях, — заверила я ее. — Ты, наверное, и сама видишь, что такой парень не может родиться здесь, в нашей маленькой дыре. Вообще-то, он наверняка иностранец!

Черстин сказала:

— К сожалению, ты, пожалуй, права.

И мы сошлись на том, что на незнакомце лежит какой-то шикарный отпечаток великосветскости и веет от него ветром дальних стран и чужеземных столиц.

— Меня не удивит, если он прибыл прямо из Парижа! — воскликнула я.

Мы глубоко вздохнули, увидев, как он исчез в дверях книжного магазина.

Черстин надо было идти к зубному врачу, а я, взяв свой велосипед со двора молокозавода, покатила домой. Несколько часов спустя явилась Черстин. Я как раз орудовала граблями, убирая двор, когда она вошла в калитку.

— Дело сделано, — заявила Черстин. — Я уже познакомилась с ним.

— С кем?

— С иностранцем! — сказала она.

— Черстин Маргарета Элисабет, что ты натворила?! — в ужасе заорала я. — Ты навлекла позор на имя, унаследованное тобой от предков?! Неужели, несмотря на все мои

предупреждения, ты завела знакомство на улице с дико незнакомым парнем?

— Не горячись, — защищалась Черстин. — Знаешь, когда поднимаешься в гору к нашей усадьбе, таща за собой велосипед все триста метров, а тут по противоположной обочине идет юноша и тащит свой велосипед, то, естественно, имеешь право обменяться с ним мыслями о перемене погоды, даже если ты не представлена ему. Мы шли вместе, понимаешь!

— Шли вместе... — строго заметила я. — Ты что, не понимаешь, он шел за тобой! Подозрительный иностранец, вот он кто! Ты выяснила, он жил в Париже?

— Не-а, — тихонько хихикнув, ответила Черстин, — зато довольно долго жил в Йёнчёпинге^[21]. Он учился там в школе. Отгадай-ка, кто он? Он — сын Самуэльссона из усадьбы Блумкулла, что ты мне дашь за это?!

Вот так и бывает в жизни! Сами того не подозревая, мы были ближайшими соседями настоящего шейха! Разумеется, он отсутствовал большую часть того времени, что мы провели в усадьбе Лильхамра, но во всяком случае... Кто-то же мог нас предупредить!

Немало успел он поведать Черстин, пока они поднимались в гору. И то, что он ходил в школу в Йёнчёпинге, а потом занимался в сельскохозяйственном училище, и что теперь живет дома, помогая отцу в усадьбе, и что целыми днями работает, а по вечерам учится заочно и читает книги по селекции растений и ведению сельского хозяйства, и еще не знаю что!

Судя по рассказу Черстин, он — совершеннейшее чудовище любознательности и энергии! Черстин уселась на лужайку, а я продолжала свою работу.

— Ну, все равно что решено! — выпалила она после некоторого молчания. — Я выхожу за него замуж и объединяю усадьбы Блумкулла и Лильхамра в одну...

— Ты сказала... что, что ты объединяешь? — спросила я, угрожающе подняв грабли. Она повторила свои бесстыдные слова.

— Фиг ты объединишь, — с ударением произнесла я. — Выходи сколько хочешь за этого Адониса^[22], пожалуйста, если тебе так уж хочется. Но усадьбы Лильхамра тебе не видать! Она достанется мне. Я сама окончу сельскохозяйственное училище и стану суровой старой девой, неженатым земледельцем, и буду железной рукой управлять и своей усадьбой, и всей округой, а также обеспечу маме с папой надежную старость!

— Старой девой! Это ты-то! Конечно! С твоей-то внешностью! — воскликнула Черстин. Ну и самовлюбленная же дура! Ведь она сама выглядит почти точь-в-точь как я!

Но когда адвокат из усадьбы Блумкулла в следующий раз объявился у нас, с ним был его сын Эрик. Черстин и я пригласили его в беседку — выпить сока. Мы болтали там с ним несколько часов подряд. А потом мама сказала, что он кажется ей очень красивым и порядочным молодым человеком.

— Фи, порядочным! — фыркнула Черстин.

Мне тоже показалось, что Эрик красив и порядочен, но я уже заранее немного ревновала, так как Эрик понемногу совершенно отбирал у меня Черстин. Естественно, она только шутила, говоря, что выйдет за него замуж, но это не мешало ей каждый день неукоснительно отправляться с Эриком на длительные прогулки, несомненно приносящие большой вред его заочному образованию. Но к чести моей, должна сказать: я всегда знаю, когда я — лишняя. Возвращалась Черстин поздно вечером; я уже лежала в постели, и Черстин надоедливо излагала мне всю ту премудрость, что преподал ей Эрик. Разумеется, не было ни одного предмета, который он бы не изучал. Он знал решительно все и обо всем, так что в конце концов я, уже абсолютно не в силах слышать это, произносила те слова, которые некий старый житель Вермланда^[23] говорил священнику, когда тот хотел развлечь его своей дружеской болтовней:

— Дорогой батюшка, поговорим о чем-нибудь другом, я так устаю от вас!

Но потом я раскаивалась и заверяла Черстин, что не смогу успокоиться, если не узнаю мнение Эрика о теплом течении Гольфстрим.

В конце концов папе, конечно же, показалось, что Черстин слишком надолго пропадает по вечерам, и однажды, когда она, как обычно, собралась в путь, он недовольно сказал:

— Эту вечную беготню я не одобряю.

— Да, но, милый Нильс, — вступилась за Черстин мама, — ведь девочка работает целые дни напролет, надо же ей пробежаться часок-другой в свободное время!

По мнению Черстин, мама произнесла очень умную речь. Ущипнув палу за щеку, моя сестра патетически продекламовала:

Разгневались они на нее за злато и поместье
И за юной ее любви предвестье...

И, накинув свой красный пиджачок, она вприпрыжку двинулась в путь. Но, обернувшись в дверях, посмотрела с упреком на папу.

— «Она приняла это так близко к сердцу...» — Продолжая декламировать, Черстин исчезла за дверью.

Во всяком случае, она лично, казалось, вовсе не приняла это так уж преувеличенно близко к сердцу, потому что я слышала, как она весело замурлыкала: «Don't let it mean goodbye»^[24], спеша вниз к калитке, где ее ждал Эрик.

В своем одиночестве я изо всех сил старалась развеяться. Детишки Ферма охотно толпились вокруг меня по вечерам. Сидя на крыльце их сений, я рассказывала им сказки. Иногда являлся послушать меня и сам папа Ферм, а Юхан и Улле частенько сживали совсем рядом на крыльце людской. Если Улле бывал в соответствующем настроении, он играл нам на гитаре, и тогда уж непременно вскоре высовывалось из окна веселое лицо Эдит. Юхан был мастером рассказывать истории о привидениях, и, хотя вечера были светлые, никак не обходилось без того, чтобы холодный ветерок ужаса не пробежал по спине, когда он рассказывал о скелете без головы, что бесчинствовал в жилой горнице у порядочных людей, и о стариках-торпарях, которым приходилось возить этого «важного хозяина», так что они сидели от страха. Детишки Ферма тоже казались до смерти напуганными, и я поспешно принималась рассказывать им не такую кошмарную сказку — об удивительной лошади, что поднималась ввысь и летала над землей, стоило лишь дернуть ее три раза за хвост и произнести: «Пирум-лирум». Но назавтра Мальш Калле — предпоследний ребенок Ферма — отправился на конюшню и попытался, трижды крепко дернув за хвост Блаккен, заставить ее взвиться в воздух. Блаккен меж тем была в тот день вовсе не расположена подниматься ввысь. Она ударила Мальша Калле задним копытом, и ребенку пришлось самостоятельно совершить воздушный полет, который чуть не стал для него гибельным. Фру Ферм явилась ко мне и совершенно справедливо сказала: вечный позор мне за то, что я вбиваю в головы малышам всяческую ерунду, и со сказками пришлось покончить.

Стоял один из самых красивых майских вечеров, и никак нельзя было сидеть дома взаперти. Я бродила по лугам вокруг усадьбы абсолютно сама по себе, и в моем одиночестве меня одолевали многие глубокие мысли. Неподалеку находилась небольшая рощица, благословенно, прекрасно изобиловавшая весенними первоцветами. Черемуха благоухала так, что голова моя шла кругом. Были там и березы, и одна из них росла так чудно, что ствол ее превратился в отличное сиденье. Там я и провела однажды вечером несколько часов подряд и продумала множество вопросов о Жизни и Смерти и о Смысле всего сущего. И почувствовала,

что если бы мне удалось все это опубликовать, то, вероятно, человечество ушло бы далеко вперед.

Где-то вдали, на овечьем выгоне усадьбы Блумкулла, сидела маленькая печальная кукушка и пела. «Кукушка с юга — уж поверьте — кукушка смерти», — гласит пословица. «Да, что другого можно еще ожидать», — думала я, преисполненная мрачайшей меланхолии. Я сорвала несколько весенних первоцветов для мамы и стала вновь и вновь передумывать свои глубокие мысли, но при ближайшем рассмотрении нашла их такими жутко нудными, что затосковала от всей души по какому-нибудь своему ровеснику, чтобы топтаться вместе с ним на танцах и легко относиться к жизни.

Но ах, в домах было темно, все покоились во сне, и, когда уже в сумерках я приплелась домой, дорога была безлюдна и пустынна, пустынна, как мое сердце. Спустившись вниз, в погреб, я отрезала себе большой ломоть ветчины. Я чувствовала — мне это просто необходимо!

Шестая глава

Поселок городского типа вырос вокруг завода, по имени которого и был назван. Завод стоял там несколько столетий, а поселку исполнилось не более пятидесяти лет. Завод был известен далеко во всей округе. Там изготавливали всякие машины, а еще там делали печи для бань. Папа был в доброй дружбе с главным инженером и заказал себе одну такую печь. Старая пивоварня, так красиво расположенная среди берез, стала и вправду по-домашнему уютной финской баней — сауной. По субботам после полудня баню топили, и мы купались там по порядку и по очереди: сначала мама и папа, потом Черстин и я, и Эдит, и, по возможности, фру Ферм со своими дочерьми, а уж потом все работники и Ферм с сыновьями; словом, купались все — от Юхана до Мальша Калле. Это мытье придавало субботам особый привкус праздничного вечера, да и в самом деле, по-настоящему уютно было лежать в полном покое и согласии на полке в бане и выслушивать неоспоримые мнения фру Ферм о мужчинах вообще и о Ферме в частности, между тем как с нас лил пот, а по всему телу растекалась приятная вялость.

Тем временем выяснилось — с печью что-то неладно. Папа позвонил главному инженеру, и тот пообещал прислать печных дел мастера починить нашу печь. Время шло, а мастер все не приходил. Папа снова позвонил, и ему удалось поговорить с самим мастером Сёдерлундом. Тот обещал прийти. Но опять не пришел. Тогда папа разозлился. И однажды в полдень, когда я собиралась ехать по делу на велосипеде в поселок, он сказал мне:

— Сходи-ка там на завод и, смотри, привези к нам домой мастера Сёдерлунда.

— Будет сделано, господин майор, — отчеканила я. — Сёдерлунд явится сюда, даже если мне придется изловить его с помощью лассо.

Когда я подошла к зданию завода, там стояло уже несколько рабочих. Я спросила, где можно встретить мастера Сёдерлунда.

— Он там, в здании, — сказали рабочие, показав на дверь.

Я вошла. Там стояла личность мужского пола в грязном комбинезоне и с обильно вымазанным машинным маслом лицом.

— Здравствуйте! — бесцеремонно поздоровалась я, считая, что здесь обходительность ни к чему. — Вы сейчас же последуете за мной — решительно и бесповоротно.

Вид у него был несколько насмешливый.

— Кто вам... — спросил было он.

— Я из усадьбы Лильхамра, где вам надлежало быть давным-давно, если бы в вас хоть капельку говорила совесть.

— Да, но... — снова начал было он.

— Никаких возражений! — воскликнула я и, словно защищаясь, подняла руку. — Вы поедете со мной, если я даже буду вынуждена сначала усыпить вас хлороформом. Потому что можете быть абсолютно уверены — я собираюсь купаться в субботу, а уж устроить это — ваше дело.

Больше он не возражал. Более чем охотно последовал он за мной и тут же прыгнул на свой велосипед. Мы молча катили рядом. Когда нам пришлось сойти с велосипедов, чтобы подняться в гору, я чуточку, украдкой взглянула на него. Право, это был по-настоящему очень молодой мастер и к тому же весьма недурен собой. Но он все время чему-то усмехался про себя, и в конце концов я пришла в страшное раздражение.

— Нельзя ли узнать, почему, собственно говоря, вы столь юмористически настроены? — спросила я. — Мне бы тоже хотелось посмеяться.

— О, ничего особенного! — ответил он.

Став серьезным, он немного расспросил меня о том, как нам живется в усадьбе Лильхамра, и обо всем таком. Я, со своей стороны, ответила, что Лильхамра, если не считать негодной печи в баньке, — место идеальное. Когда мы поднялись к дому, папа как раз стоял у калитки.

— Я привела его, я привела его! — еще издали крикнула ему я. — Если вам надо изловить какого-нибудь парня, доверьте это Барбру! Дайте ей часок-другой — и дело сделано!

Папа подошел к нам.

— Вот он, этот маленький негодяй! — довольно неуважительно сказала я.

Но ведь мастер был так молод!

— Господин Сёдерлунд — мой отец! — представила я их друг другу.

Папа дико вытаращил глаза, а потом сказал:

— И этот вот человек — мастер Сёдерлунд? Если я не ошибаюсь, это — сын Вальдемара!

Вальдемар и был главным инженером на заводе. Сначала я совершенно онемела и только, как рыба, глотала ртом воздух. Но увидев с ясностью, достойной сожаления, что мой триумф обернулся позором, я безумно разозлилась. Ходишь тут и тратишь силы, чтобы притащить домой мастеров, а когда они благополучно являются к тебе в усадьбу, то оказывается — никакие они не мастера!

— Почему вы сразу не сказали?! — взорвалась я.

— Я пытался. Но не смог вставить даже слово, — смиренно отвечал он. — Но, быть может, я все-таки могу взглянуть на печь, — добавил он.

Папа, дико хохотавший над этим происшествием, похлопал его по спине и хотел было пригласить остаться с нами на ужин, но мальчишка попросил разрешения приехать в другой раз, когда он будет чуточку более прилично выглядеть. Во всяком случае, изъян в печи он устранил довольно быстро.

Я сидела на заборе, довольно далеко, когда он катил на велосипеде по аллее домой. Остановившись, он сказал:

— До свиданья!

— До свиданья! — ответила я. — Но я все равно считаю, что вы и есть мастер Сёдерлунд, хотя вас подменили еще в детстве.

В субботний вечер, когда недельной работе настал конец и мы были чисто вымыты и красивы, Черстин, как обычно, бросила меня ради Эрика, а я вышла из дома, чтобы прогуляться в своих новых брюках. Я пошла вниз к поселку и, когда зашла уже довольно далеко, к самой осине, которую в детстве ободрал папа, встретила молодого человека, катившего на велосипеде. У него были светлые волосы и голубые глаза, и он показался мне очень знакомым, но далеко не сразу я узнала своего мастера.

— Добрый вечер! — поздоровался он. — Это вы или ваша сестра-двойняшка?

— Все зависит от одного... — ответила я. — Видите ли вы у меня на левой щеке коричневую крапинку?

Он внимательно посмотрел на меня, а потом ответил:

— Да, крапинка у вас есть.

— All right!^[25] — обрадовалась я. — В таком случае это я. Вообще-то я так и думала.

Потом мы постояли молча.

— Так-так, значит вы, господин Сёдерлунд, катаетесь по округе на велосипеде, — нарушила я молчание.

— Вам обязательно называть меня Сёдерлунд? — спросил он.

— А как мне звать вас иначе?

— Меня зовут Бьёрн. По-моему, это вполне произносимое имя.

— Пожалуй, — согласилась я. — И что же привело вас в нашу сторону, Бьёрн?

— О, я приехал сюда, только чтобы проконтролировать, хорошо ли выкупалась сегодня в баньке некая юная особа. Мне было строго приказано это сделать, — ответил он.

Тут мы оба жутко расхохотались, и нам потребовалось немало времени, чтобы нахохотаться вволю. Затем он поставил велосипед возле канавы на обочине, и мы продолжили нашу болтовню. Я поведала ему почти все, что можно было узнать обо мне, а он рассказал, что проходит практику на заводе, чтобы получить возможность через год поступить в Высшее техническое училище. По его словам, он очень интересуется машинами, моторами и надеется, что когда-нибудь, как и его отец, сможет добиться хорошего положения на этом заводе. Он не желал жить ни в каком другом месте на нашей земле — только здесь, если бы это оказалось возможным. Здесь он родился.

Потом он проводил меня домой, и мы как раз попали на небольшой субботний вечерний праздник мамы и папы. На этот раз Бьёрн сказал «да» и поблагодарил, когда его пригласили. Только мы собрались накинуться на салат, как в комнату ввалились Черстин и Эрик, так что пришлось вытащить еще парочку приборов. Эрик и Бьёрн знали друг друга с давних пор. В этот вечер папа был особенно в ударе. Ведь у него появилась надежда продать молодого бычка, и Эрик был очень польщен, когда папа попросил у него совета, сколько, сохранив порядочность, можно запросить за восьмимесячного теленка. Папа явно полагал, что эта сделка с бычком поправит его финансы на много лет вперед. Он то пел, то смеялся, то декламировал стихи.

Обнося всех пирожными с корицей, мама сказала:

— Как чудесно с вашей стороны, Бьёрн, позаботиться немного о Барбру. Она в последнее время бродила здесь совсем одна.

Черт возьми, лучше бы мамы все же не говорили такие ужасные вещи!

— Спасибо! — поблагодарила я, бросив воинственно-косой взгляд на Бьёрна. — Знаешь, мама, по-моему, я абсолютно в состоянии позаботиться о себе сама!

Пусть Бьёрн не воображает невесть что! Правда, он ничего такого вообще не воображал. Когда я налила всем еще по чашечке кофе и Бьёрну надо было взять сахар, его угораздило опрокинуть свою чашку. Он чуточку покраснел, и у него был глубоко несчастный вид, когда попросил извинить его. Бьёрн нагнулся, чтобы помочь маме вытащить блюдо с пирожными из лужицы, и белокурая прядь волос упала ему на лоб. И подумать только, именно в тот момент я вдруг почувствовала, что он совершенно определенно мог бы мне очень понравиться. Я была совсем вне себя от сочувствия к нему и тоже поспешила опрокинуть свою чашку с чаем, ведь скатерть все равно уже была в пятнах, а пирожным как-никак могла понадобится влага.

Прежде чем расстаться, мы — Черстин и я, Эрик и Бьёрн — решили отправиться в воскресенье на экскурсию. Мальчики покажут нам обрыв — пропасть, в которую бросались вниз с крутого утеса наши предки, чтобы попасть в Вальхаллу^[26], и пещеру, где в стародавние времена обитали разбойники. Сначала мы переплывем озеро, а потом пройдем полмили пешком. Черстин и я возьмем с собой бутерброды, а мальчики — прохладительные напитки.

В тот вечер я не ходила в погреб и не ела ветчину. Но когда я легла спать, уснуть не могла. Я лежала широко открыв глаза и глядя прямо в окно. Ночной ветер тихо колыхал шторы, а за окном в буйном белоснежнейшем цвету стояло вишневое дерево.

Седьмая глава

Мы побывали на этой экскурсии и провели чудесный день. Я думаю, Лильхамра расположена, пожалуй, в на редкость красивом уголке страны. Во всяком случае, мне, по крайней мере, нравится это смешение суровости и нежной прелести окрестной природы. Могучие, покрытые мхом глыбы, которые, похоже, лежат там со времен ледникового периода, что на самом деле соответствует действительности, высокие горные кряжи и темные сосновые леса, под темной сенью которых можно бродить во мраке по ковру мягчайшего мха и думать, что именно здесь и предстает перед нами диковиннейшая природа, бродить до тех самых пор, пока лес внезапно не открывается и ты не понимаешь, что ошибся. Потому что Господь не мог создать ничего более сладостного, чем зеленые луга со всеми растущими там полевыми цветами и огороженными пастбищами, где береза, осина и рябина простирают к небу свою светлую зелень, чернолесье окутывает ландшафт мягкой вуалью, которая может заставить стусеваться самый злобный старый валун. А мелкие ясные внутренние озерца сверкают то тут, то там и созданы лишь для того, чтобы и речи не было о каком-либо однообразии. Вот именно на лоне такой природы мне и хочется жить.

Мы посмотрели на тот обрыв, о котором шла речь, и поползли, извиваясь, на животе вплоть до самой крутизны, чтобы проверить, будет у нас кружиться голова или нет. Мы заползли в пещеру, такую большую, что там могло поместиться по меньшей мере человек десять! И пещера показалась нам просторным и комфортабельным жильем для той банды разбойников, что обреталась там в минувшие времена.

Потом мы весь полдень загорали на горе высоко-высоко над озером. Мы ели, пили и болтали. При ближайшем знакомстве Эрик оказался гораздо приятнее, чем я ожидала. А Бьёрн, да, Бьёрн... он был точь-в-точь так приятен, как я и ожидала! Иногда я украдкой смотрела на него, а иногда он украдкой смотрел на меня. Бьёрн взял с собой удочку и вытащил из воды пять окуней. Черстин и мне тоже дали поудить рыбу. Я вытащила лишь одну уклейку, а Черстин выудила самого большого окуня, какого я только видела в своей жизни.

Мы задержались там до самого захода солнца. Небо пылало огнем, озеро простиралось перед нами тихое-претихое, и только иногда какая-нибудь рыба всплескивала хвостом и описывала несколько кругов по воде. На верхушке ели, по другую сторону залива, пел, словно сумасшедший, дрозд. То есть я хочу сказать: я не знала, что это дрозд, пока Эрик не назвал эту птицу. Под конец дрозд смолк, и тогда настало время отправиться по домам.

— До свиданья! — крикнула Черстин эху, и «до свиданья!» услышала она в ответ с гор по другую сторону озера.

Мы влезли в лодку. Я была совершенно одурманена солнцем и воздухом и чем-то еще большим, о чем я как следует не знала, что же это такое.

После воскресенья так же надежно и неизбежно, как всегда, настал понедельник, и нам с Черстин предстояло выполоть весь огород, где сорняки — звездчатка и лебеда — грозили задушить все наши посадки пастернака, свеклы и моркови. Нам надо было к тому же полить огород, потому что солнце сияло каждый день с безоблачного неба и мы тщетно ожидали тучи, надеясь на дождь. Это одна из теневых сторон занятий земледелием: никогда нельзя от всего сердца радоваться солнечному сиянию и прекрасной погоде. Напротив, твой долг заключается в том, чтобы быть абсолютно вне себя от восторга, если польет основательный ливень как раз тогда, когда ты катишь на велосипеде домой со свежей укладкой из парикмахерской, что внизу в поселке. И когда ты почувствуешь, как капли дождя плещутся у тебя на лбу так, что всякий намек на локоны исчезает, а твое новенькое свежесглаженное полотняное платье

превращается в маленький противный и мокрый футляр, ты быстро закричишь самой себе:

— Чудесно! Должна сказать, такой дождь очень полезен для урожая кормовой свеклы. Вероятно, дождь должен пролиться и днем, чтобы мы не смогли встретиться с Бьёрном.

Одно я уяснила довольно быстро: дождь продолжается всегда либо слишком мало, либо слишком долго. Я никогда не слышала о том, чтобы дождь когда-нибудь шел в меру. Но я часто думала и о том, что когда после длительной засухи разражается всемирный потоп, то *должен же* ведь настать такой удивительный благословенный миг, когда дождя выпадет в меру! Ах, как хотелось узнать, когда настанет такой миг, чтобы я могла как-то его отпраздновать.

Но именно сейчас у нас стояла засуха, поэтому Черстин и я вырывали лебеду с такой силой, что дымилась земля. На обед у нас был окунь, выловленный Черстин, тушеный с большим количеством петрушки. Как раз когда мы сидели за столом и ели, в столовую ворвался Ферм. В глазах его был ужас.

— Бык! — заорал он. — Бык! Он подыхает!

Со страшным звоном уронив нож и вилку, папа побледнел. Мы — папа, мама, Эдит, Черстин и я, а также Ферм — выбежали из дома с быстротой, сделавшей бы честь пожарной команде.

Внизу за скотным двором, на клеверном поле, мы нашли беднягу Адама Энгельбрехта — жертву ужасающей колики. Он мучительно мычал, а брюхо его вспучилось и увеличилось чуть ли не в два раза. Потом я узнала, что такое случается довольно часто, когда животные объедаются клевером так, что в брюхе образуются газы. Это называется метеоризм и опасно для жизни.

Не знаю, кого мне было больше жаль — папу, стоявшего рядом с быком и ломавшего руки, или Адама Энгельбрехта, мычание которого выражало ужасающие боль и страдания.

— Не могли бы мы поставить ему небольшую клизму? — боязливо предложила Черстин.

И тут со скоростью спринтера примчался Юхан.

— Не болтайте глупости! — сказал совершенно сломленный папа. — Схожу за револьвером и пристрелю его. Я не могу видеть, как он мучается!

Но тут Юхан, как обычно, сказал:

— Па мне, дак ему энто дельть ни к чаму!

Он вытащил из кармана какую-то маленькую острую штучку и изо всех сил вонзил ее в бок Адама Энгельбрехта, да так, что там образовалось отверстие. Симсалябим!^[27] Вот газ и вышел через отверстие, а жизнь Адама Энгельбрехта была спасена. В эту минуту я любила Юхана, и он представлялся мне каким-то высшим существом, которое может вмешиваться в ход событий. А папа обнял и Юхана, и Адама Энгельбрехта, после чего мы снова перешли к тушеному окуню.

— Интересно, сколько таких потрясений можно выдержать, не нанеся вреда своему здоровью и разуму? — спросил папа.

Он всегда немного боялся, что какая-нибудь беда может постигнуть животных, и каждый вечер отправлялся на прогулку вокруг своих владений, чтобы проверить, все ли в порядке. Большею частью мы шли всей семьей. Я обожала эти вечерние обходы. Так легко было болтать тогда, и папа приходил в восторг, демонстрируя нам, как красиво поднялась рожь и какой у него единственный в своем роде и замечательный уродился клевер. Мы шли вокруг огороженных выгонов, вокруг полей и лугов и проверяли, есть ли соль, чтобы коровы лизали ее, и все ли ягнята в целости и сохранности. Папа пересчитывал овец и ягнят, а потом мы шли дальше, к следующему огороженному выгону, где он пересчитывал своих четырех лошадей, из которых одна была с жеребенком, а потом снова к следующему, где пересчитывал телок и телят.

— Не пойти ли тебе домой и не пересчитать ли и свиноматку? — шутливо спрашивала мама.

Когда видишь, как в траве среди берез лежат коровы и жуют траву, а Эльхумла мелкой рысью бежит тебе навстречу, слышишь, как тихо звенят коровьи колокольчики, невозможно не обрести душевного спокойствия! Мне часто хотелось быть художницей, искусной художницей, чтобы запечатлеть на полотне коров, и вечернее солнце, и зелень, и все это вместе. «Сельская идиллия» назвала бы я свою картину, или «Жующая траву Пивная Пчела среди берез», или, пожалуй, «Вечерний мирный отдых среди шведского красного и белого рогатого скота»!

Однажды во время такой прогулки папа сказал:

— Черстин и Барбру совершенно необходимо научиться доить коров. Если что-то помешает Эдит или фру Ферм, прекрасно было бы иметь резерв. А поскольку у нас доильных машин нет, то... — завистливо вздохнув, добавил он.

Черстин и я в тот же миг решили стать доярками в резерве, чтобы папа не терзался мыслями об этих доильных машинах! Накануне вечером он побывал у владельца усадьбы Блумкулла и теперь пронзительно отчетливо видел все недостатки усадьбы Лильхамра.

— У нас нет даже механизированной кормушки для скота, — мрачно изрек он.

Никто не знал, что это такое, но я подумала: пожалуй, можно было бы подарить папе такую кормушку для скота на следующий день рождения. Папа объяснил нам: оказывается, механизированная кормушка — своего рода приспособление, снабжающее всю зиму коров свежим зеленым кормом. Клевер или другие растения запихивают в цистерну или в колодец и орошают сверху кислотой. Мы все думали, как ужасно печально, что наша скотина так обойдена, а воздух, казалось, был полон невысказанных упреков. Я абсолютно не смела смотреть в глаза Эльхумлы, но успокоила свою совесть гневным возгласом:

— Нынче коровы тоже с претензиями! Кто, по-вашему, может позволить себе лопать свежий корм круглый год?!

Папа вскоре стряхнул с себя все горести и переключился на поиски старых земляничных полянок. Несколько самых лучших находилось на коровьем выгоне. Но, кажется, земляничные полянки обладают способностью с годами передвигаться с места на место. В конце концов он нашел одну из лучших, где земляника росла на каменистой осыпи. Там было множество цветов, множество незрелых зеленых ягод и одна-единственная — спелая. Я посмотрела на папу. Так оно и есть, в глазах у него стояли слезы.

— Когда-то воскресным утром я набрал здесь целый литр земляники, отнес домой и отдал бабушке, — дрожащим голосом произнес он.

Совсем рядом росла могучая старая береза, и папа непременно должен был взобраться на нее, потому что ребенком он постоянно этим занимался. Он сорвал с себя ботинки и носки, и ему удалось, хотя и с трудом, влезть на дерево. Вскоре он поднялся аж до самой верхушки и ликующе запел, как петух:

— Кукареку! Кукареку!

Черстин и я полезли следом за ним, меж тем как мама, прислонившись к изгороди, смотрела вверх на своего кукарекающего господина и супруга и говорила:

— Какое счастье, что в семье есть хоть один человек, который в любом случае держится на земле.

Сверху перед нами открывался чудесный вид. Ведь Лильхамра была расположена так высоко, и мы видели усадьбы и селения на расстоянии многих миль отсюда. То тут, то там сверкали озера, а далеко-далеко синели леса. Широкие просторы и прекрасные пейзажи настраивали папу на возвышенный лад.

— «Швеция, Швеция, Швеция, отчизна моя... — пел он громовым голосом, спускаясь с дерева, — край нашей мечты, наш дом на зе-е-емле...»^[28]

Он все пел и пел:

— «Вот звенят колокола...»

Адский шум помешал нам услышать остальное.

То был не кто иной, как майор и помещик, рыцарь Ордена меча и т. д., и т. п., который с шумом, словно злобный метеор, пролетел сквозь листву. Он коснулся земли как раз у маминых ног и прочитал стишок, что, несомненно, не был предназначен для наших детских ушей. Мы не осмеливались смеяться, только чуточку стонали. Мама сказала: просто чудо, что он не нанес себе никаких более серьезных увечий, а папа, разглядывая свои синяки, заметил:

— Но в прежние времена эта ветка меня выдерживала!

— Да, милый Нильс, — сказала мама. — Но тогда ты был по меньшей мере на семьдесят килограммов легче.

На следующее утро мы принялись учиться доить коров. Встали мы безбожно рано, почти в пять часов утра. Вылезать из теплой постели в такую рань показалось нам не очень-то приятно. В воздухе веяло прохладой, и мы побежали в кухню к Эдит выпить чего-нибудь горячего. Затем мы — фру Ферм, Эдит, Черстин и я — пустились в путь с подоюнками и всем прочим. Утро было свежее и росистое, и внизу, на лугу Ваккерэнген^[29], парили легкие дымки, которые, пустив в ход немного фантазии, можно было принять за танцующих эльфов. Некоторое время ушло на поиски коров, так как им, естественно, не улыбалось пастись или спать поблизости от загона для скота, где их собирались доить. Но поиски коров были вовсе не обременительны. Я наслаждалась, бродя по огороженному выгону и видя, как среди стволов деревьев играют солнечные лучи, и слыша, как щебечет на свой лад каждая малая пташка.

— Коровушки, коровушки! — звала Эдит.

И вдруг, откуда ни возьмись, послышалось в ответ мычание, и мы увидели, как все стадо во главе с Эльхумлой трусцой движется к нам.

Расставив коров на выгоне для скота, мы взяли каждая свою скамеечку, висевшую на ограде, и уселись рядом со своей коровкой.

Мне досталась Мона Лиза, потому что, как утверждала Эдит, доить ее было особенно легко. Я начала доить, абсолютно уверенная в том, что вот-вот увижу, как теплое молоко заструится в ведро. Но не увидела ни единой капли. Я стала смотреть, как доит Эдит, и стала делать все точь-в-точь как она. Результат был тот же самый. Я стала думать, что коровица, эта подлая тварь, торчит тут и сознательно саботирует, срывая мне широко задуманный план, согласно которому я уже в самый первый день подою по меньшей мере трех коров. Однако сдаваться я не собиралась — Мона Лиза еще узнает, с кем она сражается. Я начала доить с такой силой, что косточки рук побелели. Тогда хвост Моны Лизы пришел в движение и обвился, как маленький теплый шарфик, вокруг моей шеи. А молока все не было! Эдит захохотала так, что чуть не свалилась со своей скамеечки. Я, толкнув Мону Лизу, сказала, что даю ей последний шанс показать, как должна вести себя хорошо воспитанная корова из лучших коровьих семейств! Но подумать только, она так и не воспользовалась этим шансом! Она лишь, повернув голову, уставилась на меня, и я уверяю, что подлинная Мона Лиза^[30] на том самом портрете, что в Париже, не могла бы выглядеть даже приблизительно столь загадочно, как моя корова, которую, по словам Эдит, доить было легче всех. Если б она умела, то, я уверена, она бы улыбнулась. И тут я решительно отказалась от Моны Лизы: если уж эту корову доить легко, то лучше ввязаться в драку с той, которую доить тяжело. Потому что я, во всяком случае, уже так привыкла к коровьей злобе и недоброжелательству! И могу выдержать абсолютно все, что угодно! Между тем и следующий экземпляр, должно быть, происходил из особо подлого коровьего племени, которое приобрел папа, так как и дальше все шло из рук вон плохо. Но больше всего огорчало меня то, что Черстин фактически удалось стать дояркой. И она не могла бы больше воображать, даже если бы научилась стоять на голове и доставать нос пальцами ног.

— Надо иметь врожденную способность доить коров, — уверяла она.

Я ответила, что мои способности более высокого плана и мне достаточно радости труда, которую я испытываю глядя, как она работает и надрывается.

Фру Ферм доила, стиснув зубы, с такой энергией, что просто не родилась еще на свет корова, которая осмелилась бы недодать ей хоть самую маленькую каплю молока. Эдит пела, она делала это всегда — и у нее была особая песня, которую она пела, как раз когда доила. Песня была любовная, с ужасающе печальным содержанием, но мелодия бойкая и строго соблюдавшая ритм самого плохого марша, а молоко било струей в такт стимулирующим корову звукам.

Вот скачет с поля боя гусар молодой,
Ведь хочет он навсегда покончить с войной,
И первый вопрос, что задал он, был:
Жива ль его возлюбленная иль больше
нет на свете милой такой.
Да, ясное дело, здравствует и благоденствует она сейчас,
Так как свадьбу свою справляет как раз.
Тогда поскакал наш гусар быстрее, чем птиц небесных полет,
Ведь с милой встречи скорой он ждет.

Затем шли все остальные стихи, вплоть до последних строк, где солдат и его возлюбленная купаются в собственной крови. А корова меж тем была подоена.

Дояркой в резерве я так и не стала, а когда мы, Черстин и я, прикатили домой тележку с молоком, я произнесла пламенную речь о преимуществах машинного доения. Я считала, что государство должно основательно поддержать шведских земледельцев и смонтировать машины для дойки молока на всех скотных дворах. Это нужно для того, чтобы положить конец допотопным условиям, предоставляющим ныне возможность любой ничтожной строптивой корове восстать против своего верховного владыки, против венца творения, а точнее, совершенно точно — против меня. Но Черстин в ответ на мою речь заявила, что единственная поддержка, в которой нуждается шведское земледелие, — это необходимость отстранить меня от всего, что называется дойкой. А также необходимость приставить меня к работе, требующей меньших умственных и физических затрат.

Восьмая глава

В ближайшие дни я проводила много времени с Бьёрном. Светлыми июньскими вечерами мы бродили и глазели на все, что только можно было увидеть в нашей округе. Думаю, иногда мы проходили несколько миль в день. Совершенно удивительно, как легко гулять на воздухе, любуясь природой. Когда шагаешь большими шагами по луговой траве или топчешь ковер из упавшей хвои сосен и елей, никогда не устаешь. В городе после такой прогулки на каждом пальце ноги появились бы мозоли. Однажды вечером мы с Бьёрном отправились посмотреть на старую заброшенную мельницу, а в другой раз вечером взяли курс в совершенно противоположную сторону — поглядеть на горное ущелье — и развлекались, сползая оттуда вниз. Мы совершали самые умопомрачительные открытия, во всяком случае, умопомрачительными они были для меня, бедного несчастного городского ребенка, не успевшего еще привыкнуть к уникальной расточительности природы. Я вскрикивала от восторга, когда мы находили канаву, заросшую мелкими ярко-красными цветами примулы и другими первоцветами. А когда мы однажды нечаянно наткнулись на куропатку с птенцами, которые тут же исчезли в каменистой осыпи, для меня это было таким примечательным событием, что я болтала об этом всем, кто желал меня слушать, и хвасталась этим несколько дней подряд. В лесах вокруг усадьбы Лильхамра водится множество лесных птиц. Я научилась распознавать, как токует глухарь, и Бьёрн обещал мне, что следующей весной мы отправимся ранним утром послушать тетеревов и посмотреть тетеревиные игры. Я пыталась запомнить, как выглядят разные мелкие пташки, как они пищат или щебечут, и уже не понимала, почему биология казалась мне такой смертельно скучной и сухой в школе!

Знакомилась я и с людьми. Поблизости находился торп, относившийся прежде к усадьбе Лильхамра, туда мы часто ходили с Бьёрном. Там теперь жил торпарь Свен Свенссон с женой, и более трогательной пожилой пары невозможно было найти даже за деньги. Они помнили папу с тех самых пор, когда он был еще маленьким мальчиком, и этого было достаточно для того, чтобы угощать нас соком и сухариками. Сам же торп был именно таким, какой заставил бы американского шведа^[31] плакать от тоски по родине: низенькая красная лачуга с цветами — «разбитым сердцем»^[32] и фиалкой под окнами — и с ухоженным небольшим клочком земли. Там я увидела, как нужно по-настоящему обрабатывать огород, и смущалась, думая о нашей с Черстин неравной борьбе с лебедой у нас дома.

Неподалеку от торпа находилось маленькое озерцо Кварнбушён^[33]. Там водилось много рыбы, и мы с Бьёрном часто по вечерам отправлялись туда удить. Я купила себе удочку. Бьёрн помог мне насадить на нее лесу, и грузило, и крючок. Помог он и насадить на удочку червяка, поскольку у меня, говоря по правде, натура слабая. Мы сидели каждый на своем камне и глазели каждый на свой поплавок, и просто немыслимо, сколько всего успевали мы доверить друг другу за это время. Чтобы не спугнуть рыбу, мы заставляли себя почти все время говорить шепотом, и я, сидя на камне, шипела, выдавая одну нескромность о себе самой за другой, о своих чувствах и мыслях, о том, что мечтала рассказать кому-нибудь кроме Черстин. И Бьёрн был так же чистосердечен со мной, как и я с ним.

Разумеется, мы часто проводили время с Черстин и Эриком. Настроение тогда обычно бывало веселым и приподнятым. Но только до тех пор, пока Эрик не переводил разговор на международную политику, или жилищные условия в сельской местности, или на другую тему, на которую он считал себя призванным пролить свет. В таких случаях нам почти нечего было добавить, но ведь, пожалуй, полезно научиться слушать и других. Во время всех дискуссий Бьёрн был молчалив и деликатен. Время от времени он вставлял то или иное слегка ироническое

замечание. Эрик приглашал нас иногда к себе домой в Блумкуллу, и, когда он показывал нам все тамошние технические чудеса, глаза Черстин, да и мои, буквально вылезали из орбит так, словно держались на тонких стебельках. Какой только аппаратуры там не было, да еще и трактор, и доильные машины, и два колодца с кормом, и сноповязалка — и не знаю что еще... И все высшего класса! Вообще вся усадьба Блумкулла была так ухожена! И неудивительно, что Эрик гордился, демонстрируя лоснящихся от жира и чистоты коров и толстущих поросят. А хлеб в поле уродился явно в результате приобретенного многими поколениями опыта, как лучше всего заставить зерновые расти в полную силу. И мы с Черстин решили, что так прекрасно будет когда-нибудь и в усадьбе Лильхамра.

У нас, у всех четверых, были велосипеды, и вскоре во всей округе уже не было ни единой дороги или тропки, по которой бы мы не ездили. Чаще всего то были извилистые и холмистые дороги, не обозначенные ни на одной топографической карте. Повсюду стояли красивые старинные крестьянские усадьбы, выглядевшие так, словно были тут с незапамятных времен. А еще нам повсюду попадались доброжелательные люди. Многих, уже знакомых нам по молокозаводу, мы встречали у них дома, в их собственных усадьбах, и они были исключительно гостеприимны. Возможно, оттого что с нами был Эрик. Во всем приходе, в каждом доме он был все равно что собственный ребенок.

В конце концов я решила, что уже знаю вдоль и поперек всю округу, что изучила всю здешнюю природу, которая в моих глазах была самой изумительной из всего, что я видела, знаю и людей, которые всегда добры ко мне. Я совершенно не чувствовала себя пришлой иностранкой. Я считала, что мое место здесь и всегда было здесь.

Однажды томительно жарким июньским вечером к нам домой пожаловали Бьёрн с Эриком. Черстин и я лежали на лужайке перед Гнездовьем Патрончиков и, словно выброшенные на берег рыбы, ловили ртом воздух. Черстин, вяло обороняясь, отмахнулась от ребят рукой:

— Не вздумайте сказать, что нам надо выйти из усадьбы и идти, идти без конца, иначе стряется беда!

— Не-а, я думаю, мы поиграем в бадминтон, — сказал этот чертенок Эрик, который как раз на днях укрепил сетку для бадминтона на ровном месте в овечьем выгоне усадьбы Блумкулла.

Черстин, с отвращением глядя на него, ничего не ответила. Потом, приподнявшись на локте, она взглянула на Бьёрна и сказала:

— Я думаю, ты, должно быть, жутко влюблен в Барбру!

— Почему ты так решила? — спокойно и невозмутимо спросил Бьёрн.

— Потому что, если это не так, ты не примчался бы сюда на велосипеде, поднимаясь несколько раз в гору и рискуя заработать тепловой удар!

Я не отрывала глаз от неба, делая вид, что ничего не слышу.

— Я люблю моцион, — ответил Бьёрн и насмешливо посмотрел на меня.

Но немного погодя, когда Эрик и Черстин, глядя на часы Эрика, спорили, стоят они или нет, Бьёрн взял мою руку и быстро поцеловал. И я с моим врожденным больным воображением начала тотчас же ломать голову, что мне, собственно говоря, будет больше к лицу — маленький миртовый веночек или приходский, из горного хрусталя в золоте, венец невесты?!

Эрик прервал мои размышления, предложив все-таки совершить небольшую прогулку на велосипедах. Ведь тогда тебя постоянно обдувает легкий ветерок. И после некоторых переговоров мы отправились.

Если продолжить путь на полмили от поселка мимо усадеб Блумкулла и Лильхамра, то доезжаешь до самого что ни на есть роскошного поместья Моссторп^[34]. Главное здание там — белое и великолепное, в два этажа, парк — в английском стиле, со знаменитыми на всю округу парковыми сооружениями. На скотном дворе содержится семьдесят коров, молоко от которых

грузовик доставляет на молокозавод. Господ же возят в семиместном автомобиле марки «паккард». Однако мимо нашей усадьбы они никогда не ездят. От них в поселок ведет более широкая и наикратчайшая дорога. Черстин и я множество раз проезжали на велосипедах мимо Моссторпа, но единственный обитатель усадьбы, которого мы не раз видели, был маленький противный десятилетний мальчишка, показывавший нам язык. Между тем мы знали, что там есть и девочки примерно нашего возраста, но увидеть их нам так и не привелось.

В этот вечер мы покатали в сторону Моссторпа. Оптимистическая вера Эрика в то, что нас обдует легкий ветерок, оказалась совершенно беспочвенной. Дождя уже давным-давно не было. Воздух даже не шелохнется, а ощущение такое, будто все тело покрыто тепловлажным компрессом. Проезжая неподалеку от Моссторпа, мы вдруг заметили, что небо позади нас покрыто плотным слоем угрожающих туч. Ясно, что и гроза не за горами. И мы решили как можно быстрее возвращаться домой. Но было уже слишком поздно. Как раз когда мы проезжали по широкому, ведущему вниз склону холма прямо против Моссторпа, разразилась гроза. Я никогда не переживала ничего подобного. Дождь стоял такой плотной стеной, что под самым носом ничего не было видно. Свинцово-серое небо между тем непрерывно освещалось пламенеющими молниями, которые тут же сопровождались ужасающими ударами грома. Вдруг раздался настоящий адский грохот. Я услышала безумный крик ужаса — это Черстин, поскользнувшись, скатилась вниз вместе с велосипедом и въехала прямо в каменистую осыпь. Как можно быстрее мы затормозили и повернули обратно, чтобы вытащить Черстин. Но она не так уж страшно пострадала, как мы ожидали. Она только основательно ободрала локоть и вообще отделалась несколькими синяками. Хуже было с велосипедом. Переднее колесо было искорежено и похоже на восьмерку, а заднее сломалось.

— Вот весело-то! — сказала Черстин и стала разглядывать то велосипед, то свою рану, то тучу, которая продолжала извергать на нас потоки воды.

«Это полезно для кормовой свеклы», — собралась было выговорить я, но тут раздался новый удар грома, который вообще лишил меня удовольствия высказываться.

— Пошли зайдем в Моссторп, — сказал Бьёрн. — Анн и Вивека наверняка обрадуются незнакомым гостям.

Выбора не было, да и не хотелось идти полмили под проливным дождем.

Ну и живописный же маленький караван пятью минутами позже поднимался по высокой лестнице в Моссторп! Волосы свисали мокрыми прядями, обрамляя наши посиневшие лица, мы промокли до нитки, а когда остановились на веранде, вокруг наших ног образовалась целая водная система.

Ретиво залаяла собака, и послышался ужасающий удар грома, да такой, что зазвенели стекла. Черстин вскрикнула, двери отворились, и к нам вышла девочка в красном джемпере, с самыми ясными серыми глазами, какие я только видела. Ее сопровождал злющий эрдельтерьер.

— Милые вы мои! — только и выговорила она.

— Привет, Вивека! — поздоровался Бьёрн. — Пред тобой четверо бродяг, которые очень нуждаются в человеческом милосердии!

И кажется, мы встретили истинно милосердную самаритянку^[35]. Вивека ринулась к Черстин, огорченно осмотрела ее локоть и сказала:

— Его надо немедленно перевязать!

Втолкнув нас всех в холл, она изо всех сил закричала:

— Анн, Анн, у нас грабители! На помощь!

На лестнице верхнего этажа показалась другая юная девица, явно это была Анн. Ах, ах, до чего ж она была хороша! Именно такой мне всегда хотелось быть! Кроткие голубые глаза, точеный носик и дивные светлые волосы, словно ореол обрамлявшие ее лицо.

Секунду спустя кто-то уже съезжал по перилам. Это был тот самый маленький противный мальчишка, которого мы раньше видели. Мальш Гангстер плюхнулся к нашим ногам и мгновенно сказал:

— Чего вам надо? Мамы и папы дома нет!

Вид у него был до того наглый, что мне захотелось его ущипнуть. Но Анн и Вивека были непревзойденны в своей доброжелательности. Они перевязали рану Черстин. Остальным они велели снять свои мокрые тряпки и облачиться в их пижамы и купальные халаты. Затем, закутавшись в одеяла, мы уселись в удобные складные кресла на веранде, пили чай и чувствовали, как в наши оочеченевшие руки возвращается жизнь. Одновременно мы наблюдали грандиозное представление, которое давали могучие силы природы. Гроза удалилась на почтительное расстояние, а раскаты грома сменились глухим бормотанием. Однако дождь лил по-прежнему, а далеко на горизонте скрещивались молнии. Это слабое бормотание и дождевая завеса, окутавшая нас, ощущение полной безопасности и благоденствия сблизили нас, оживили и развеселили.

Вдруг на лестнице вынырнул откуда-то новый, промокший насквозь субъект. То был студент, который, как выяснилось, был домашним учителем Мальша Гангстера Класа и этим тяжким трудом зарабатывал свой кусок хлеба. Торкель — так звали учителя, — как и мы, был застигнут дождем, и прошло совсем немного времени, а он уже сидел в нашем тесном кружке, облаченный в купальный халат, и тоже играл с нами в «голубец».

Мы вдруг почувствовали себя такими хорошими знакомыми и преисполнились уверенности в том, что Черстин и я станем по-настоящему добрыми друзьями с Анн и Вивекой. Меня радовало это, потому что, как бы там ни было, есть очень много такого, о чем с мальчишками не поговоришь, и время от времени необходим часок-другой задушевной болтовни «между нами, девочками». Да и мама имела обыкновение внушать Черстин и мне:

— Самое главное для девочки — вовсе не то, чтобы нравиться мальчикам. Самое главное — чтобы она пришлась по душе представительницам ее пола.

Поэтому я была рада, что, по-видимому, мы пришлись по душе Анн и Вивеке так же, как они пришлись по душе нам.

Но вот мало-помалу дождь прекратился и на небо вырвалось солнце. Капли воды блестели на листьях и цветах, и чудесно было думать, что земля наконец-то утолила свою жажду. В саду среди кустов в одних лишь плавках, но вооруженный луком и стрелами, бегал Мальш Гангстер. Он все время издавал громкие воинственные крики, а потом, неожиданно высунув голову за моим стулом, вскричал:

— Никогда не убивать в субботу — таков закон обитателей диких прерий и их постоянная тревога и забота!

И, судя по выражению его лица, только счастливое обстоятельство — а именно то, что сегодня действительно была суббота, — спасло меня от верной гибели. Я не завидовала Торкелю, его домашнему учителю.

Анн и Вивека строили грандиозные планы наших будущих встреч. Для начала они предложили, чтобы мы ежедневно после полудня приезжали к ним на несколько часов играть в теннис. Они очень удивились, когда мы сказали, что, к сожалению, не сможем, так как в понедельник начнем прореживать свеклу. Кажется, они подумали, что просто какой-то странный, чуть ли не болезненный каприз гонит нас на свекольное поле. Когда же мы объяснили, что вынуждены это делать, хотим этого или нет, они от всего сердца пожалели, что у нас такие жестокие и бесчеловечные родители. На какое-то мгновение я призадумалась. Действительно ли плохо то, что мы вынуждены работать? Ведь мы все работаем! Эрик, быть может, больше нас всех, а Бьёрн в своей черной от сажи мастерской с семи утра до пяти часов

пополудни, а Черстин и я, по правде, не так упорно, как они, но, во всяком случае, в меру наших сил. Я взглянула на Черстин. Она совершенно не производила впечатления изможденной рабыни. Наоборот, я никогда не видела ее такой свежей и загорелой. И знала, что выгляжу точь-в-точь так же. И вообще, разве это лето не было гораздо веселее — раза в два, — чем все прежние, которые мы обычно проводили на Западном побережье? Лежать на скале и жариться на солнце, пока не начнешь менять кожу, как змея, вероятно, в общем и целом не самое великое счастье в жизни.

— Самое большое счастье в жизни, — сказала Черстин, буквально перехватив слова, готовые сорваться с моих губ, — это работать! А теперь послушайте!

Пустив в ход по-настоящему властный мамин тон, Черстин почти буквально воспроизвела мамины слова в той самой речи по поводу новых брюк. Когда Черстин наконец закончила свое выступление, среди присутствовавших не нашлось никого, кто совершенно не уяснил, какие мы, собственно говоря, безгранично прилежные и как для благосостояния усадьбы Лильхамра необходима наша рабочая сила! Меня почти охватило страшное беспокойство, когда я подумала, сколько я стою и какие деньги практически расточила, сидя здесь в полном безделье.

Когда мама и папа девочек примчались вечером домой на своем «паккарде», они нашли своих дочерей в обществе нескольких «голубцов», которые быстренько «развернулись», сбросив купальные халаты, и облачились в свои штатские одежды, успевшие к тому времени высохнуть. Мы поблагодарили за приют и были радушно приглашены приехать вновь. Велосипед Черстин хозяева предложили отправить завтра в мастерскую в поселок на грузовике с молоком. Эрик посадил Черстин на багажник. И мы ринулись домой, овеваемые прохладным вечерним ветерком.

Девятая глава

А в понедельник мы уже горели на работе, прореживая свеклу. И было самое время! Ботва свеклы уже заметно вымахала, стала совсем высокой, да и уборка урожая была не за горами. Юхан, Улле и Свен Свенссон шли впереди и прореживали свеклу, то есть срезали часть свекольной ботвы, сохраняя лишь съедобное корневище. В каждой ямке нужно было безжалостно убрать все свеколки, кроме одной, чтобы оставшаяся впитывала в себя солнце, и воздух, и корм и превратилась к осени в небольшой тяжелый овощ.

Эдит, Черстин и я, а также четверо ребятишек Ферма — вот кому предстояло позаботиться об окончательном прореживании свеклы. Мне казалось, что свекольное поле выглядит головокружительно огромным. Юхан отмерил на всех двадцать рядов, но Черстин и я соединили наши ряды и решили помогать друг другу. Таким образом, мы все время могли лежать рядом, работая и вместе с тем приятно болтая. Я тотчас вызвала Черстин на соревнование: кто быстрее дойдет до края канавы, до межи, которая маячила вдали, словно Мекка для пилигрима^[36]. Мне казалось, что я должна взять реванш за поражение в тот день, когда доила коров. Мы принялись за дело с истинной быстротой спринтера, но ведь и так было ясно, что Черстин, которая всегда должна быть хуже, удаляется от меня, хотя я неистовствовала так, что свекла и сорняки просто кружились в воздухе. Однако я добилась признания и реабилитации. Юхан пришел проверять нашу работу и обнаружил, что Черстин оставляет в ямках и по две, и по три свеклы. Черстин сочла его мелочным.

— Неужели, Юхан, вы не понимаете, что маленькая свеколка может почувствовать себя одинокой! — сказала она. — Я думаю, что когда они там вдвоем или втроем, это мило!

— Дурацкая болтовня! — возмутился Юхан.

И Черстин пришлось все переделывать заново, а я оказалась в победителях уже после первого ряда. Но мало-помалу мы утратили вкус к соревнованию. Скорость значительно понизилась, и Черстин вдруг растянулась на земле.

— Мне так хорошо думается, когда я лежу, — сказала она.

Но Юхан терпеть не мог лентяев.

— А ну вкальвайте! Только не останавливайтесь! — подстегивал он нас.

А мы отвечали, что ему отлично подошло бы место надсмотрщика на галерах, где бы он избивал рабов, если бы только в наше время не было так туго с рабами. В ответ на это он только удовлетворенно улыбался:

— А ну вкальвайте!

Вот единственный результат наших речей. И мы вкальвали. Сорняков было великое множество. Самым мерзким оказался пырей, который рос там, прикидываясь красивой, скромной травкой, а на самом деле у него были длиннющие корни, разветвлявшиеся во все стороны.

— Что до меня, — произнесла я, — то я считаю: эти корни пронзают весь земной шар и вылезают наружу по другую его сторону.

— Да, — поддержала меня Черстин. — А там, внизу, в Юго-Восточной Африке, сидит маленький злой зулус — туземец из племени кафров и не выпускает эти корни наружу. Только чтобы подразнить нас.

День неудержимо клонился к концу. Нещадно пекло солнце. Болели коленки, а руки устали от борьбы с пыреем. Земля забивалась в глаза, в уши и в нос, жажда мучила так, что ты начинал чувствовать себя Свеном Хедином^[37], ползущим за водой в пустыне Такла-Макан^[38].

Но были и минуты блаженства. Например, перерывы, когда пили кофе. Тогда мы все вместе

собирались у межи и доставали термосы с кофеи бутерброды. Испачканными землей руками макали мы в кофе бутерброды и большими глотками весело хлебали его. Еда всегда сопровождалась беседой, и столько жизненной мудрости ухитрялись выжать из себя лишь за один-единственный такой перерыв Свен Свенссон и Юхан, что какому-нибудь профессору понадобилось бы для этого прочитывать по меньшей мере десять лекций, чтобы соответствовать им. Улле, обычно такой веселый и переполненный забавными шутками, был в тот день чуточку удручен.

— Ну и бяда быть челвеком, — сказал он, бросив обвиняющий взгляд в сторону Эдит. — Памрет челвек аль будит жив, все одно: никто по яму не заплачит.

Мы все знали, что грызло Улле, лишая его радости жизни. Мы все видели, как Ивар, работник из усадьбы Блумкулла, крался по субботам за углами нашей усадьбы. Мне было жаль Улле, но, лежа на спине среди цветов — камнеломки и солнцезвета — и глядя на плывущие по небу мелкие летние тучки, я ни в коем случае не могла согласиться с Улле, что «быть челвеком» — «бяда»! Наоборот, несмотря на пропальвание свеклы и на пырей, я от всего сердца радовалась, что ухитрилась грохнуть на эту планету. Как легко могла бы я стать фрёкен марсианкой с плавательными перепонками между пальцами ног или, может быть, с одним только громадным глазом посреди лба! Уньние Улле вообще-то возымело некоторое действие, поскольку Эдит с сияющей улыбкой подала ему кружку крепчайшего кофе.

Но день был длинный и трудный, и домой мы шли усталые, особенно Черстин. Да и настроение у нее было неважное. С отвращением смотрела она на свой грязный комбинезон и черные как уголь руки с землей отечества под ногтями.

— Хочу быть благородной дамой, — недовольно сказала она. — Хочу ходить в нейлоновых чулках и в туфлях на высоком каблуке. Хочу быть красивой и неотразимой и чтобы от меня пахло «курениями и лададаном». *Не жслаю* прореживать свеклу!

— «Высшее счастье — работа», — напомнила я ей. — Кажется, не далее как в субботний вечер я выслушала твою краткую, но содержательную проповедь на эту тему.

— Да, но я никогда не говорила, что работать надо лежа, ковыряясь в земле. Я скорее всего думала о каком-нибудь престижном занятии, не столь уничтожающе губительном для ногтей.

Теперь уже я прибегла к властному маминому тону. Я сказала, что она должна отбросить причуды капризной барышни и что любая работа хороша, если только трудиться честно. Я все больше и больше распаялась и с дьявольской логикой выдвигала разные аргументы в пользу необходимости трудиться. Так что вскоре не осталось уже никаких сомнений в том, что «высшее счастье жизни» есть. И это не более и не менее как прореживание свеклы.

Тем временем мы вышли на проселочную дорогу. И как раз когда я, размахивая руками, вбивала в Черстин мысль о том, что ей следует чуточку больше думать о работе и чуточку меньше о том, как она выглядит, из-за угла вынырнул маленький красный спортивный автомобильчик. Я тут же забыла о внешнем виде Черстин только ради того, чтобы подумать о своем собственном. Потому что в автомобиле, резко затормозившем прямо перед нашим носом, сидели двое молодых людей в летной форме. Никогда раньше нам их видеть не приходилось. А остановились они из чистого любопытства. Видимо, молодым людям была известна Лильхамра, потому что им захотелось услышать мнение юных сельскохозяйственных тружениц о своем новом хозяине.

— Что, собственно, за человек этот сумасшедший майор? — поинтересовался один из них.

— О, это никому не известный мучитель детей, — ответила Черстин. — Он не щадит даже свою собственную плоть и кровь. Его дети знай только работают и надрываются с утра до вечера!

После этих ошеломляющих слов мы ушли, и понадобилось довольно много времени,

прежде чем они, опомнившись, смогли двинуться дальше.

К счастью, папа затопил баньку, и если когда-нибудь нам было особенно приятно мыться, то именно сегодня. Во время ужина раздался телефонный звонок из Моссторпа. Анн и Вивека поинтересовались, не хотим ли мы прокатиться на велосипедах и познакомиться с их старшим братом, который как раз приехал с товарищем домой в отпуск.

— Ага, мой дорогой доктор Ватсон, — сказала я Черстин, — загадка красного автомобильчика разрешена!

Поев, мы тут же ринулись в Гнездовье Патрончиков, и началось такое прихорашивание, подобного которому на человеческой памяти еще не бывало.

Мы расчесывали щетками и гребнями волосы, мы чистили зубы, мы полировали ногти на каждом пальце и, правда-правда, чуть ли не полировали ногти и на ногах. Мы смазывали наши пропальывавшие свеклу руки благоухающими кремами и накладывали пудру на наши отчаянно блестящие после бани носы из коробочки, которая вынималась в особо торжественных случаях. А случай этот был особо торжественным! Ведь нас буквально снедало желание показать этим летающим юношам, что мы, право же, можем выглядеть как все люди, хотя и валялись целый день на свекольном поле. Черстин зашла так далеко, что предложила надеть пикейные платья, но я сказала:

— Стоит ли? Подумай, что будет, если мы до того ослепим их нашей необыкновенной красотой, что они потеряют сознание?

Поэтому мы решили на всякий случай надеть что-то менее обворожительное. Черстин одолжила велосипед у Эдит, и мы отправились в дорогу. Папа бросил нам вслед слова предупреждения:

— Возвращайтесь скорей домой и ложитесь спать вовремя. Завтра в половине седьмого утра — подъем, побудка; не забудьте об этом!

Но мы уже были почти на полпути в Моссторп. Прямо при въезде в усадьбу нас встретил Малыш Гангстер, с высунутым, словно у муравьеда, языком.

— Мой миленький, славный, прекрасно воспитанный дружок, — сказала Черстин, — не против ли ты, чтобы мы попросили тебя убрать язычок в рот и сказать, где твои сестры?

— Сидят в саду и кривляются перед парнем, — просветил он нас. — Туссе тоже там. И Торкель. Туссе — хаспирант при авиации. Я тоже стану хаспирантом при авиации, и у меня будет собственный самолет-истребитель. Туссе — мой брат. Он — хаспирант при авиации...

— Мы верим тебе! — сказала Черстин.

— Там есть еще один хмырь, и он тоже хаспирант при авиации.

— Что мне особенно хотелось бы знать, — продолжала Черстин, — это в какую сторону нам идти, чтобы увидеть этих «хаспирантов».

— Туда, — сказал Клас, неохотно ткнув пальцем в сторону сада. Затем мы расстались, выказав взаимную учтивость: то есть он показал язык нам, а мы показали языки ему. Мы пошли в указанную сторону, но не обнаружили ни малейшего следа какого-либо «хаспиранта».

— Впечатление такое, будто аспиранты взлетели в воздух, прихватив с собой Анн и Вивеку, — решила Черстин.

— Летите с миром! — напутствовала их я.

— Аспиранты *испарились*, — услышали мы восхищенный писк Вивеки.

Он доносился с гигантского клена, и, взглянув вверх, мы увидели среди ветвей пять веселых лиц.

— Будьте добры, поднимитесь по лестнице наверх и выпейте с нами чашечку кофе, — пригласила Анн.

И действительно, на верхушку клена вела лестница. На высоте нескольких метров ствол

дерева разветвлялся на четыре могучие ветви, и там, где он делился на части, была устроена площадка из досок, на которой размещался стол, окруженный скамейками.

То была совершенно очаровательная беседка, приспособленная для кофепития и веселой болтовни.

Анн представила своего старшего брата Тура и его товарища Кристера.

— Вот как, значит, это и есть изможденные дочери неизвестного мучителя детей! — воскликнул Тур.

— Именно так! — сказала Черстин. — А это — тот самый любопытствующий и любознательный аспирант?

— Так точно! — ответил Тур.

Кристер вначале не произнес ни слова, только не отрывал от нас взгляда глубоко сидящих темно-синих глаз, и я было подумала, что он чрезвычайно молчаливый индивидуум.

Но это оказалось жестоким заблуждением. В течение следующих десяти минут он пустил в ход все свое красноречие. И он, и Тур старались превзойти друг друга в усилиях вести беседу, изобилующую смешными шутками, отчаянными остротами и забавными словечками.

Черстин, и я, и Вивека изо всех сил старались не отставать от них. Торкелю и Анн, конечно, доставляла большое удовольствие роль слушателей. Мы же выступали примерно так, словно играли в каком-нибудь американском фильме, но только еще энергичнее. В конце концов я почувствовала, что, если мне придется еще хотя бы пять минут быть остроумной, я умру. Но с помощью крепкого кофе и одной-другой минуты перерыва, когда Тур и Кристер пели песни ополченцев, я пришла в себя, и нам стало ужасно весело. Посреди всего этого веселья я вдруг опомнилась и подумала, как там Бьёрн и чем он занимается... И тут же почувствовала угрызения совести, что не позвонила ему, прежде чем уехать, и не предупредила, что нас не будет дома. Ведь возможно, сегодня вечером он напрасно поднимался в гору по всем этим холмам... Но долго размышлять об этом я не могла, так как Кристер нагнулся ко мне, как раз когда Тур рассказывал какую-то историю, и, понизив голос, спросил, не хочу ли я как-нибудь на этой неделе совершить небольшую прогулку в его автомобиле?

Ведь он никогда не бывал в здешних окрестностях, сказал он, и ему нужен гид. Я возразила, что в таком случае гидами удобнее быть Анн и Вивеке, которые здесь под рукой. В ответ он сказал, что по моему лицу видно, какой я великолепный гид, и я подумала: all right, если ты так чертовски великолепна, то тебе, вероятно, не помешает маленькая прогулка по окрестностям. Во всяком случае, я ведь могу спросить маму, считает ли она это возможным. И вообще автомобиль — очарователен. И черт его знает, не таков ли и Кристер? Мы договорились на четверг.

Всю эту неделю мы прореживали свеклу, и всю эту неделю Бьёрн был болен. Мне было его ужасно жаль, и я ежедневно звонила маме Бьёрна, осведомляясь, как он себя чувствует, и посылала ему приветы. Да, я зашла даже так далеко, что нашла у себя книгу, которую он, как мне было известно, хотел прочитать, и послала ее Бьёрну на завод с одним из детишек Ферма.

Но если быть беспощадно честной к самой себе, то должна признать: по правде говоря, меня очень устраивало, что он не мог приезжать в усадьбу Лильхамра, по крайней мере явиться сюда вечером в четверг. Потому что в тот день я разъезжала в красном спортивном автомобильчике с Кристером. Все обитатели Моссторпа приехали в среду вечером к нам в усадьбу и познакомились с мамой и папой, так что мама после некоторых колебаний позволила мне поехать с Кристером в качестве его чичероне^[39].

А в субботу Анн исполнялось восемнадцать лет. Она отметила свой день рождения блистательным праздником. Черстин и я были приглашены. Эрик и Бьёрн тоже, но Бьёрн по-прежнему был болен и не избавился еще от своего бронхита.

Юхан отвез нас с Черстин в усадьбу Моссторп, находившуюся всего на расстоянии полумили от нашей усадьбы, — потому что мы были в длинных платьях и не могли трястись на велосипедах. Мы ехали в дрожках, которые папа обнаружил среди прочего инвентаря. Они были в усадьбе еще с дедушкиных времен и выглядели, естественно, старомодно, но дрожки в любом случае дрожки и есть, и мы чувствовали себя вполне соответствующими нашему сословию, когда ехали по аллее Моссторпа и, свернув, подкатили к парадному подъезду.

— О юность, да чаво ж ты прекрасна, — вздохнул Юхан, когда мы вылезли из экипажа. — Ну да ладно, чаво там, вяселитесь!

— Будь уверен, Юхан, нам будет весело! — сказала я. — Заруби себе это на носу! И он покатил обратно с довольной улыбкой на своем добром лице.

Мы поздоровались с хозяевами, которые, стоя на крыльце веранды, принимали гостей, а потом рассыпались по саду вместе с двадцатью другими молодыми людьми и девушками, которые устремились сюда снизу из поселка и из окрестных усадеб. Это была картина, которую можно назвать впечатляющей: сад с бархатно-зелеными ухоженными лужайками и девочки в длинных платьях среди цветущих жимолости и боярышника. Я заметила, что абсолютно все девочки были одеты в светлые цветастые платья, абсолютно все, кроме Черстин и меня. Наши платья для танцев — из полотна в красно-белую клетку, и я уже серьезно подумывала, не обрести ли мне из-за этого небольшой комплекс неполноценности, но, к счастью, к саду появилась мама Вивеки и Анн и, пощупав мою юбку, сказала:

— О, какое очаровательное платье! Надо мне заказать такие же для Анн и Вивеки.

Так что после этих слов все девочки на свете могли быть какими угодно цветастыми, мне, во всяком случае, это было уже все равно.

Как рассказывала впоследствии Черстин, когда она бродила по всему саду в поисках Эрика, она встретила Кристера, который, пылко схватив ее за руку, сказал:

— Детка, сегодня вечером я хочу танцевать только с тобой!

— Осмелюсь заметить, — холодно произнесла Черстин, — что перед тобой — Черстин, а Эрик — необыкновенно сильный парень и может в любую минуту вынырнуть из-за ближайшего куста. Но если ты найдешь кого-то с коричневой крапинкой на левой щеке и с видом жуткой воображалы, можешь попытаться пригласить ее вместо меня.

Обеденный стол, украшенный красным боярышником и белой сиренью, сервировали на большой открытой веранде.

Это был почти первый настоящий праздничный обед, на котором присутствовали мы с Черстин. То есть, точнее, мы бывали на обедах, которые устраивали мама и папа, но тогда мы только накрывали на стол. Это совершенно не то, что самому сидеть за столом, а тебя обслуживают... Мы чувствовали себя чудесно: словно абсолютно взрослые, а к тому же все было так вкусно! Сначала сэндвичи, потом цыпленок и, наконец, мороженое с теплым шоколадным соусом. Когда мы ели мороженое, я жалела, что нет Бьёрна, я знала, что оно бы ему понравилось. Но, конечно же, это был один-единственный раз за весь вечер, когда я о нем подумала. Да, честно!

Виновница торжества — Анн — восседала в коротком конце стола и в самом деле была так красива, что нельзя было на нее смотреть. После того как подали мороженое, папа произнес в ее честь речь, в которой сказал, что она всегда была доброй и милой дочерью. Этого даже не нужно было говорить, это было написано на ее лице!

— Анн — совсем не такая, как я, — сказала Вивека, сидевшая как раз напротив нас с Кристером вместе с симпатичным веснушчатый мальчиком. — Я и не красива, и не добра. Но умна, как пуделиха.

После обеда мы убрали стол и стулья и включили радиолу^[40]. Мы танцевали на веранде, а между танцами сидели на перилах крыльца или слонялись по саду. Кристер танцевал непростительно великолепно. Протанцевав вместе три танца подряд, мы влезли на клен и уселись немного поболтать. Разумеется, беседовать с ним всерьез было невозможно, но если хочется с кем-нибудь потрепаться, то никого лучше Кристера никогда не найдешь.

Папа собирался приехать за нами в половине двенадцатого, и мы с непритворным огорчением видели, что роковой удар часов близок. Необходимость прервать праздник, прежде чем по-настоящему исчерпаешь каждую каплю развлечений и веселья, была отвратительна. Черстин и я, мрачно забившись в угол, держали совет. Увидев это, Анн подошла к нам и спросила:

— Почему бы вам не переночевать сегодня в Моссторпе? Мы с Вивекой дадим вам пижамы, а зубы почистите каплей зубной пасты на чистой тряпочке.

Черстин и я взглянули друг на друга. Известная история с Колумбовым яйцом^[41] показалась нам попросту хитрой уловкой по сравнению с предложением Анн. Мы вяло возражали, как того требовала учтивость, но нам ужасно хотелось остаться. И чем больше мы думали, как весело было бы остаться, тем большую жалость испытывали к бедному папе, которому пришлось бы без всякой необходимости посреди ночи отправиться сюда. Я ринулась к телефону и позвонила домой. К телефону подошел папа.

— Привет! — сказала я. — Ты случайно не спал?

— Нет, случайно не спал, — ответил он.

— Как жаль! — огорчилась я. — Тогда ложись спать!

— Что за глупости ты болтаешь?

— Ну, ты ведь понимаешь, что в общем и целом Черстин и я не из тех дочерей, которые выгоняют посреди ночи своего старика отца на проселочную дорогу, чтобы он замерз или наехал на что-нибудь. Этого нам просто наши сердца не позволят.

— Говори так, чтобы тебя поняли! О чем идет речь? Какую еще чертовщину вы придумали?

— Не надо жестоких слов, — отпарировала я. — Мы собираемся здесь переночевать. Этого хотят Анн и Вивека. Этого хотят их мама и папа. Всеобщее желание, чтобы мы остались ночевать в Моссторпе. Спроси маму, можно ли нам остаться?!

Он что-то слабо пробормотал, и я услышала, как он советуется с мамой. Через минуту я уже снова кружилась в вихре танца. Но вот мало-помалу отзвучал последний вальс. Эрик вызвался отвезти Черстин домой на багажнике, но об этом ведь не могло быть и речи!

У Анн и Вивеки была большая красивая комната в мансарде на втором этаже, и там мы должны были ночевать. Их мама настойчиво просила нас не поднимать слишком большого шума. Она переживала как раз период бессонницы, а ее спальня находилась совсем рядом с комнатой девочек. А мы, в свою очередь, призвали Тура и Кристера не поднимать слишком большого шума над нашими головами. Молодые люди жили в комнатке на чердаке прямо над комнатой Вивеки и Анн.

Приглушенно болтая и беспрестанно хихикая, мы разделись с определенными предосторожностями, чтобы не нарушить ночной покой хозяйки дома. Первой разделась Черстин и быстро прыгнула на раскладную походную кровать, в которой должна была спать. Но походная кровать явно не привыкла к таким резким движениям. Она рухнула с грохотом, который наверняка был слышен даже внизу в погребе. И мы хохотали до визга, заткнув рот подушками. Успокоившись, мы снова поставили кровать на ножки и залезли в постели. А потом долго болтали о том о сем. Как раз в тот момент, когда Анн призналась: она, пожалуй, думает, что, возможно, чуточку влюблена в Торкеля, я случайно бросила взгляд в окно. И следом за этим тишину прорезал ужасающий крик. Мой крик. Потому что за окном парила, размахивая руками, страшная белая фигура. Кровь застыла у меня в жилах, волосы встали на голове дыбом, глаза чуть не вылезли из орбит, все происходило точь-в-точь как в самой наиклассической истории о привидениях. Я кричала. То же самое произошло и с остальными, когда они взглянули на чудовище за окном. Но фигура продолжала однообразно парить взад-вперед, по-прежнему размахивая руками. И мы решили взглянуть на нее. Это оказалась всего-навсего большая кукла, сделанная из простыни и перевязанная веревками, — кукла, которая качалась на пожарном канате. И вышеназванный канат раскачивали взад-вперед Тур и Кристер, чьи радостные ухмылки мы увидели, глянув вверх на их окно.

— Подумать только! Как легко напугать современных юных дам! — с чувством превосходства заметил Тур.

— И подумать только, что современные молодые люди так ребячливы, что играют в куклы, — сказала Черстин.

— Почему вы не спите? — спросил Кристер, поднимая куклу в окно.

— Спи сам, тогда увидишь, как это хорошо, — ответила Вивека.

Мы снова двинулись в глубь комнаты. Но мир и покой были кратковременны.

— Я только хочу посмотреть, хорошо ли вы подоткнули одеяла, — услышали мы голос за окном.

И увидели, что там на пожарном канате висит Тур. Упершись ногой в стену, он с довольным видом раскачивался взад-вперед, этакое статное явление в голубой пижаме. Тогда, вытянув указательный палец, я совсем чуточку пощекотала его. Я, пожалуй, и представить себе не могла, что он *так* боится щекотки! Но он именно *так* ее и боялся! Он не мог бы заорать громче, даже если бы я стала вырезать кровавого орла у него на спине^[42]. И Тур, извиваясь словно змей, заскользил вниз по веревке, извергая ужасающие проклятия в мой адрес. Благополучно спустившись на землю, он быстро успокоился и начал петь нам серенаду. Играя на воображаемой лютне, он пел, исполненный томления:

Твои жемчуга и алмазы

Нельзя ни с чьими равнять.

Глаза твои всех прелестней, —

Чего ж тебе больше желать...^[43]

И как раз в эту минуту Вивека, схватив лейку, вылила воду в его широко разверстую пасть, в результате чего сладостные звуки превратились в неотчетливое бульканье. Мы расхохотались от всего сердца и довольно грубо.

— А вот и Тарзан^[44], сын обезьян! — вдруг услышали мы голос сверху, и, элегантно плывя по пожарному канату, держась лишь одной рукой, появился Кристер.

Он совершил промежуточную посадку на листе жести под нашим окном. Но мы стали щипать его за ноги до тех пор, пока он не счел целесообразным ретироваться и не спустился вниз к Туру.

В мировой истории известны примеры того, как великая, идея эпохи приходит одновременно в две различные человеческие головы. Именно это и произошло. Вивека и я разом ринулись из комнаты, взбежали вверх по чердачной лестнице в комнату мальчиков, дрожа от радости, отцепили канат от скобы, на которой он держался, и сбросили его вниз, в сад. Услышав протестующий вой, мы поспешили обратно к Анн и Черстин. Затем мы все четверо высунулись в окно и стали смотреть на несчастных мальчишек, стоявших в пижамах, босиком и основательно изолированных на всю ночь. Мы хохотали изо всех сил.

— Нечего стоять там и глазеть, — сказала Анн. — Можете пошататься немного по лужайкам, вот ночь быстренько и пройдет.

— А бывает, что в это время года наступают заморозки, — с надеждой в голосе продолжила я.

— Да, если только приметы не врут, нынче под утро грянет мороз! — добавила Вивека.

— В таком случае вам надо с размаху бить себя руками — это лучший способ согреться, — сказала Черстин. — А когда пальцы ног начнут синеть, можете подуть на них, это всегда немного помогает.

— Ха! — воскликнул Кристер. — Вы еще не видели, на что способен Тарзан, сын обезьян!

С этими словами он влез на высокий клен, что рос как раз перед мансардой, и, обвязав плечи пожарным канатом, взобрался на ветку, простиравшуюся высоко над крышей дома. Выбрав подходящее местечко, он крепко привязал канат, а затем совершил прыжок, который сделал бы честь любому артисту цирка. Секунду спустя он уже стоял на коньке крыши. Мы же висели в окне буквально на ногтях, восхищаясь его доблестью. Брошенный Кристером пожарный канат помог Туру взобраться наверх и перевести дух, — не мог же он остаться на клене на вечные времена, словно мемориальная доска. С бьющимся сердцем и с опасностью для жизни свисая из окна, узрели мы потом, как Кристер медленно спускается вниз с крыши. Он висел на руках и болтал ногами, порождая в нас беспокойство. Когда же он наконец очутился в безопасности на листе жести под окном своей комнаты, мы испустили глубокий вздох облегчения.

Но Тур был по-прежнему изолирован — и он ведь не мог проделать тот же маневр, потому что тогда пожарный канат остался бы висеть на дереве и разболтал о наших ночных приключениях.

— Ладно, брось-ка мне канат! — посоветовал Кристер.

Тур сделал достойную уважения попытку последовать его совету. На одном конце каната был железный крюк, но, несмотря на его тяжесть, Туру никак не удавалось подбросить канат до чердака. Зато ему отлично удалось добросить его до нашего окна.

— Берегитесь, я бросаю канат! — крикнул он.

И бросил его... прямо в окно!

— Бух, дзинь! — сказала Анн — это сломалась лейка.

Мы заорали, а вода заструилась по полу.

— В чем дело? — воскликнул Тур.

— О, ничего особенного, — ответила Вивека. — Всего лишь жалкая лейка! Не отчаивайся и не сдавайся! Лампа еще цела!

Между тем Кристер высидел идею. Длинная веревка, наверное та, которой они связывали простыню, пролетела в воздухе мимо наших глаз, и Тур крепко привязал ее к крюку. Мы отрезали кусочек веревки только один раз, когда Тур забрасывал ее наверх. Второй попытке мы мешать не стали, так как нам уже очень хотелось спать, и Тур забросил веревку. Кристер поднял пожарный канат наверх, Тур торжественно взобрался по нему и исчез в окне.

— Спокойной ночи, девчонки! — закричал он. — И не воображайте, что можете издеваться над двумя важными аспирантами при Королевской авиации Швеции! Черта с два!

Мы забрались в постели.

— Бедная мама! — сказала Анн. — Она, конечно, не сомкнула нынче ночью глаз.

Ой, об этом мы совершенно забыли! И, преисполненные беспокойства о том, что скажет утром хозяйка дома, мы мало-помалу погрузились в глубокий сон.

Солнце, около десяти часов утра озарив своими светлыми лучами Моссторп, осветило также и голодную ораву кающихся грешников, собравшуюся на балконе, где хозяин и хозяйка дома восседали во главе стола, на котором уже стоял кофе. Даже самые страшные запоздалые угрызения совести не помешали нам накинуться на булочки и рулет с кремом.

— О, у меня сегодня такое чувство бодрости! — сказала мама Вивеки и Анн. — Спасибо, милые мои, вы так тихо вели себя вчера вечером! Не припомню и ночи, когда бы я так сладко спала!

Мы ничего не ответили, только глубоко заглянули друг другу в глаза. И я подумала: она так сладко спит во время бессонницы, что даже трубы иерихонские^[45], оглушительно гремящие прямо ей в уши, не смогут заставить ее пробудиться. Но Малыш Гангстер, которого по какой-то непонятной причине не было видно во время вчерашних торжеств (должно быть, его убрали куда-нибудь подальше, связав руки за спиной), подойдя к Кристеру и став прямо против него, хитро улыбнулся и очень выразительно сказал:

— Тарзан!

Тогда Кристер дал ему, вынув из кармана, монетку в двадцать пять эре.

В назначенное время приехал Юхан и забрал нас. Мы покатали домой, лениво откинувшись на подушки качающихся дрожек. Щебетали птицы, светило солнце, колокола в приходской церкви звенели над окрестностью. Нас охватило чувство рассветного воскресного покоя. Утро было чудесное!

— Ну, было вам весело? — спросил Юхан, обернувшись на облучке.

— Можешь быть уверен и заруби себе на носу: нам было весело, — сказала я.

Одиннадцатая глава

Однако же потом стало еще веселее. Праздник середины лета^[46] грянул, словно веселые торжественные трубные звуки фанфар, прямо в разгар сенокоса. И однажды ярким солнечным утром папа поднял флаг на флагштоке усадьбы Лильхамра. Юхан расхаживал непривычно нарядный, в темно-синем шевиотовом костюме и с причесанными мокрым гребнем волосами. Он был, в виде исключения, совершенно свободен целый день, а такое не часто случается в сельской усадьбе, где за животными, будь то воскресенье или будни, все равно надо присматривать. В полдень он запряг Блаккен и Мунтера в телегу, на которой возят сено, и туда же мы зачихнули всех детишек Ферма. А потом понеслись по ухабистой дороге через лес к лугу Чэллаэнген^[47], где наломали веток и насобирали цветов. После полудня все обитатели усадьбы Лильхамра и несколько детишек статарей^[48] из усадьбы Блумкулла собрались внизу на лугу Ваккерэнген, чтобы поднять майское дерево — праздничный шест, украшенный гирляндами из зелени и цветов.

Эрик тоже пришел. Дома у них никакой шест не воздвигали. Эдит, Черстин и я сплели гирлянды из зеленых веток. Мужчины подняли шест, а дети бегали вокруг, словно телята на зеленом выгоне. Мама, сидя на зеленой траве, угощала всех, кто хотел, соком и булочками, а папа расхаживал с довольным видом. Потом мы танцевали вокруг майского дерева и пели «Вышел я вечером в рощу зеленую», «Пляшут семь девиц-красавиц, фалле-рал-ля...» и еще много других песен, не помню даже каких. И играли в разные игры: «Последняя пара, выйди вон!» и «Двоих бьет третий!». Когда же мы только-только отдышались после всех этих песен, танцев и игр, явился папа и объявил соревнования по бегу в мешках среди юниоров.

Не успела я присесть на камень — освежиться стаканом сока, как рядом со мной вынырнул Бьёрн. Я так обрадовалась, что просто подскочила. Бьёрн был бледен, и я испытывала страшные угрызения совести, будто не из-за бронхита, а по моей вине он стал таким.

Мама пригласила Эрика и Бьёрна на наш скромный ужин. После этого должны были состояться танцы на току. Ивар — работник из усадьбы Блумкулла — явился со своей шестирядной гармонью, и со всех сторон начал стекаться народ. Люди потихоньку спускались вниз к току. Никого на танцы не приглашали, но все были желанными гостями. Гудя, примчался и красный спортивный автомобильчик. За рулем сидела Анн, рядом с ней — Вивека, а на заднем сиденье жались Тур и Кристер.

После некоторых небольших подготовительных пассажей на гармонии Ивар рванул вальс «Угол за печкой», и мама с папой открыли бал. Вся площадка на току мигом наполнилась танцующими.

Я танцевала с папой, и с Юханом, и с Улле, и с Эриком, и с Туром, и с Бьёрном, и с Кристером. Думаю, пожалуй, больше всего с Кристером. У него была необычная способность держаться впереди всех, и виден и слышен он был повсюду. Он пел, он смеялся и, казалось, был абсолютно уверен, что он здесь — главное лицо. Несколько раз случалось, что Бьёрн приглашал меня одновременно с ним, и не знаю даже, как это получалось, но Кристер всегда одерживал победу. Впрочем, вообще-то я точно знаю, как это получалось! Все очень просто: я предпочитала танцевать с Кристером.

— «Мой эльф, ты танцуешь столь неслышно, столь тихо...» — пел он; и я чувствовала себя похожей только на эльфа и уже не обращала внимания на то, что еще больше побледнел Бьёрн и что у него усталый вид.

Вечер стоял теплый, а в соседнем приходе была, должно быть, великолепная грозовая погода, так как горизонт застлали черные тучи и уже на расстоянии слышались раскаты грома.

Вдруг полил короткий, но сильный дождь, хорошо освеживший воздух и наше настроение. Кристер счел, что нам необходимо постараться вдохнуть в себя целебный воздух, и мы с ним направились к изгороди и уселись.

— По-моему, слушать гармонь вот так, на расстоянии, восхитительно, — сказал он. — А ты так не думаешь?

Ну да, конечно, я думала то же самое. Но как раз в эту минуту перед нами возник Бьёрн и спросил:

— Можно пригласить тебя на танец?

Я не знала, как мне быть. Бьёрн требовательно смотрел на меня, а Кристер держал за руку.

— Милый Бьёрн, а мы не можем потанцевать в следующий раз? — спросила я. — Я так устала!

Глаза его блеснули.

— Как хочешь! — ответил он.

И, повернувшись на каблуках, ушел. А я, непонятливая скотина, позволила ему уйти, а сама осталась сидеть у изгороди, чувствуя необычайное удовлетворение: этакая прожженная пожирательница мужских сердец — просто до мозга костей. Когда начался следующий танец, мы вернулись обратно. Но Бьёрн больше не появился — ни тогда, ни потом. Он исчез. И даже тогда я не обратила на это внимания. Я танцевала с Кристером до тех пор, пока папа, захлопав в ладоши, не сказал, что теперь вечер кончен.

Обитатели Моссторпа покатали домой, а нам с Черстин пришлось отправиться спать.

— Ой, подумать только... мы совсем забыли... — внезапно сказала Черстин.

— Забыли... что? — удивленно спросила я.

— Мы забыли перепрыгнуть через девять изгородей, собрать девять видов цветов и положить их на ночь под подушку, чтобы нам приснился суженый.

Она была права. Такой шанс упускать нельзя. Мы быстро перепрыгнули через первую изгородь в березовой роще. Я сорвала маленький цветок вероники, а Черстин блуждала чуть подальше в поисках уж не знаю какого там цветка. Как тихо было кругом! А как пахли березы! Я не припомню, чтобы они когда-нибудь благоухали так, как этой ночью. Трава была мокрая после дождя. Стояла тишина, тишина абсолютно беззвучная, если не считать по-домашнему уютного свиста коростеля на ржаном поле, совсем рядом. То была тишина, какой я никогда прежде не знала. Казалось, само лето на миг затаило дыхание.

Все вместе было так непереносимо сладостно: и то, что стояло лето, и то, что мне было шестнадцать лет, а потом будет семнадцать, и восемнадцать, и девятнадцать, и то, что есть на свете Черстин, и то, что так непростительно пахнут березы. Я не знала, что бы мне такое сделать! Совсем рядом со мной стояла, так могуче благоухая, маленькая бедняжка березка. И в моем диком упоении я обвила руками ствол и поцеловала деревце, да, я поцеловала его, и, если бы Черстин увидела меня в тот миг, я убила бы ее на месте.

Мы сорвали по девять разных цветов и отправились домой, в Гнездовье Патрончиков, как раз когда начало светать. Я легла, но не могла заснуть, я лежала и болтала сама с собой.

— Летняя ночь, — повторяла я, — летняя ночь!

Я говорила громко, потому что мне хотелось услышать, как звучат эти слова. А звучали они красиво! Я подумала, что никогда в жизни не слыхала более красивых слов. Потом я подумала о Бьёрне, и в душе моей загорелось нечто, причинившее мне ужасную боль. Что я наделала, Боже мой, что я наделала!

В мрачном настроении сунула я руку под подушку, где лежали цветы, и позволила маргаритке и дикой герани увянуть в моей руке.

И кто же приснился мне той ночью? Мне приснился Юхан! Ха-ха!

Двенадцатая глава

Сенокос был в полном разгаре, и сенокосилки, которые тянули Блаккен и Мунтер, непрерывно стрекотали на полях. Лошадьми правил Юхан, а Улле и Ферм раскладывали сено на просушку. Следом за ними шла я и правила конными граблями, которые тянула Сиккан. А Черстин и Бленда запряженная в воз, развозили подставки для сушки сена.

Когда сидишь там, на конных граблях, времени на размышления достаточно. Строго говоря, это единственное, что можно делать. Если, конечно, не спорить и не перебраниваться с Юханом или не слушать перепалки Улле и Ферма — кто, собственно говоря, лучше: по-настоящему красивая девушка или по-настоящему красивая корова. Ферм считал, что корова. Но когда Эдит приносила в поле после полудня кофе и сидела на снопах сена в голубом полотняном платье с засученными рукавами, а голова ее была вся в шаловливых локонах, Улле, показывая на нее пальцем, угрожающе говорил Ферму:

— Неужто ты все еще будешь утверждать, что корова Эльхумла красивее?

Тут Ферм оказывался в затруднительном положении. Ему ведь не хотелось быть явно неучтивым, и он говорил тогда:

— Может, Эльхумла не красивее Эдит, но, пожалуй, внешность ее как бы содержательнее. Что это означало, никто не понимал. Но Эдит совсем не обижалась.

Да, на размышления времени у меня было предостаточно! Я думала о Бьёрне больше, чем когда-либо прежде, и каждый вечер, когда работа на этот день бывала закончена, я не отрывала глаз от аллеи в надежде увидеть хорошо знакомую фигуру. Однако он так и не пришел, и я с каждым днем становилась все печальнее!

Кристер... он-то приходил, да — он приходил. Каждый вечер красный спортивный автомобильчик останавливался возле нашей калитки, и, если Черстин гуляла с Эриком, я могла немного покататься с Кристером, ведь Бьёрна, чтобы ездить вместе с ним на велосипеде, не было. Но, как ни странно, с каждым разом мне все меньше этого хотелось, и каждый вечер, ложась спать, я грустила.

Днем, во время работы, становилось легче. Юхан утверждал, что сена в этом году чрезвычайно мало, так как в самом начале лета грянула засуха. Но мне-то, мне казалось, что сена у нас слишком много. И когда мы сложили все сено на подставки, где оно должно было сохнуть, то, не поверите, как назло, прилежно полили дожди.

— Чего и следовало ожидать! — сказал папа, мрачно глядя на небо.

Но Юхан возразил ему, что даже если дождь, возможно, не слишком полезен для сена, то он, тем не менее, куда полезнее для ржи — папиной гордости. Рожь стояла сине-зеленая и нарядная. И вдруг снова засияло солнце и день или два дул сильный ветер, и папа, выставив большие пальцы рук в сторону запада, сказал:

— Теперь сено высохнет!

И все в усадьбе обрадовались.

У нас не хватало инструментов, снастей и сельскохозяйственных машин, но вот однажды Юхан пришел к папе и спросил, надумал ли он, как быть, когда придет пора собирать урожай.

— А разве уборочная машина не годится? — неуверенно поинтересовался папа.

— Не-а, она и вправду никуда не гожа, — ответил Юхан. — Энту машину нада бы давным-давно сдать в металлолом. Нам бы нада сноповязалку. У всех таперича такая павсеместно, а пачему у нас должно быть хуже?

Рванув себя за волосы, папа сказал, что он не знает, где взять средства на такой непредвиденный расход в несколько тысяч крон.

— Но все же, — вздохнув, произнес он, — мне, вероятно, в любом случае придется заказать одну сноповязалку.

— Не-а, па мне, дак ему это дельть ни к чаму! — пришел на помощь Юхан со своей обычной репликой.

И сунул папе вырезку из газеты с объявлением, в котором было написано, что «по причине смерти в ближайшую субботу состоится в усадьбе Линдокра^[49] открытый аукцион», где среди прочего «будут продаваться повозки и всякое оборудование, необходимое в земледелии, как-то (следующее слово Юхан подчеркнул красным мелком): „одна сноповязалка фирмы, Мак-Кормик“ ...» и т. д.

Нужно же было, как утверждал Юхан, всем человеческим законам вопреки устроить аукцион в самый разгар сенокоса! «Такого, — сказал он, — никогда еще свет не видывал!» Но владелец усадьбы скончался скоропостижно, а «евонная вдова» собиралась уехать к дочери в Америку, а тому, кто купит усадьбу, никакой сноповязалки от Мак-Кормика не понадобится.

— Но она понадобится мне, — удовлетворенно сказал папа.

Аукционы, по его словам, самое лучшее на свете, что он знает, даже если до сих пор никогда не имел обыкновения покупать там сельскохозяйственное оборудование, а лишь старые ветхие стулья и шкафы, рушившиеся на глазах, уже ничего не стоящие скрипки и маленькие хрупкие фарфоровые вазы, заставлявшие маму удрученно качать головой, когда он притаскивал домой свою добычу.

В субботу после полудня Юхан запряг дрожки, и мы — Юхан и папа, Черстин и я — отправились в усадьбу Линдокра со строгим наказом мамы не привозить ничего, кроме сноповязалки. Папа уже заранее радовался как дитя и все время шутил с Юханом. Время от времени Юхану приходилось осаживать лошадей, чтобы папа мог констатировать: ни одно ржаное поле, мимо которого мы проезжали, не может сравниться с его полем, там, дома, в усадьбе Лильхамра. Иногда ему приходилось останавливаться, чтобы мы с Черстин могли выйти из дрожек и собрать землянику на обочинах.

Линдокра оказалась маленькой уютной усадьбой, где, несмотря на разгар сенокоса, собралось множество людей. Впрочем, в субботу в послеполуденное время все были уже свободны от работы и счастливы. Ведь аукционы — это народные гулянья, которые ни в коем случае нельзя пропускать. Мы встретили толпы знакомых. Среди первых, кого я заметила, был крестьянин из Лёвхульты, с которым я частенько имела обыкновение сталкиваться на молокозаводе. Он постоянно раздражался и приставал с оскорбительными вопросами, как, например: понимаем ли мы в усадьбе Лильхамра разницу между рядовой сеялкой и молотилкой, и еще многими другими в том же духе...

— Да, представь себе, мы понимаем эту разницу, — ответила я ему, когда однажды терпение мое лопнуло. — Мы понимаем разницу между многими вещами, даже между чистым молоком и грязным. А на это способны далеко не все, — сказала я.

И тогда — единственный раз — крестьянин из Лёвхульты промолчал. Дело в том, что ему много раз ставили на вид: молоко, которое он привозил, чистым не было, в нем было полно остатков торфяной подстилки и всякой дряни.

И вот здесь, на аукционе, стоял тот самый крестьянин из Лёвхульты и тарасил на нас глаза.

— Ну гляньте-ка, экие благородные девицы тут разъезжают, — сказал он. — Чаво вам тут надо?

— Мы собираемся купить сноповязалку, — объяснила Черстин.

— Вон оно что! — воскликнул крестьянин из Лёвхульты. — Ну да! Да только глядите в оба, как бы вам не воротиться домой с тележкой для навозу вместо сноповязалки. Больно легко их перепутать!

Забавно было смотреть на папу, когда аукционщик начал предлагать разные предметы. Не было ни одной вещи, за которую папа не хотел предложить свою цену, и он то и дело взывал к Юхану. Может, разумно приобрести это... или это... или это? Так что Юхан всюду трудился, повторяя свою неизменную вечную поговорку:

— Па мне, дак ему энтого дельть ни к чаму!

И вот мало-помалу наступила и очередь сноповязалки.

— Предложь спярва пять сотен! — шепнул папе Юхан.

Папа так и сделал.

— Пятьсот пятьдесят! — это выкрикнул крестьянин из Лёвхульты, предложив больше.

Вот вредина! Мы-то знали, что у него есть все равно что новая сноповязалка, он сам рассказывал об этом, когда мы сдавали молоко в поселке. А сейчас он хотел лишь вздуть цену для нас. Никто больше ничего не выкрикнул.

— Шестьсот! — предложил папа.

— Шестьсот пятьдесят! — выкрикнул крестьянин из Лёвхульты.

Я так нервничала, что даже подпрыгнула!

— Семьсот! — предложил папа.

Я сложила руки, словно для молитвы. Наступила долгая пауза.

— Семьсот пятьдесят! — выкрикнул крестьянин из Лёвхульты.

Я могла бы убить его голыми руками...

Вид у папы был совершенно подавленный, и после некоторого колебания он сказал:

— Семьсот семьдесят пять!

Я вперила взгляд в крестьянина из Лёвхульты и подумала: если он теперь поднимет цену, я умру, а после смерти стану являться, как привидение, в Лёвхульт до тех пор, пока этот несчастный жив. И еще чуточку после его смерти. А когда он через несколько секунд выкрикнул: «Восемьсот!», я, совершенно спятив, исключительно на нервной почве вонзила ногти в руку совершенно незнакомого, кроткого низкорослого бедняги крестьянина, который, насколько мне известно, никогда ничего дурного мне не сделал. Но тут я услышала, как чей-то пронзительный голос выкрикивает:

— Восемьсот пятьдесят!

Это кричала я сама. Начался легкий переполох. Старики крестьяне, обернувшись, глядели на меня, аукционщик же вопросительно посмотрел на папу.

— Это моя дочь, — сказал папа, — и я отвечаю за ее предложение.

Крестьянин из Лёвхульты, казалось, немного растерялся.

— Восемьсот пятьдесят — раз, восемьсот пятьдесят — два, восемьсот пятьдесят — три! — произнес аукционщик.

Я не спускала глаз с крестьянина из Лёвхульты, и, по-видимому, у меня был такой кошмарный вид, что он не осмелился предложить более высокую цену, а может, эта история уже не казалась ему такой забавной, потому что он промолчал. И молоток упал. Сноповязалка была нашей. А Черстин и я обняли друг друга и в радостном похмелье исполнили воинственный танец.

«Надежные и хорошо известные покупатели получают отсрочку платежа на шесть месяцев», — было написано в объявлении. А сегодня папа выглядел таким надежным и хорошо известным как никогда! Значит, мы успеем наскрести необходимую сумму, прежде чем ее у нас потребуют. Юхан сказал, что, во всяком случае, для такой прекрасной сноповязалки цена невысокая. А папа казался довольным и веселым.

Через несколько дней нам доставили ее домой. Сноповязалка стояла на скотном дворе, и все наше семейство ходило вокруг и рассматривало ее, словно какой-то древний ковчег [\[50\]](#), в

котором хранились ветхозаветные скрижали.

Папа захотел немедленно испытать сноповязалку, но Юхан сказал:

— Погоди-ка уж, господин майор, — покедова рожь созрет.

Папа меж тем настаивал на своем противоестественном желании. Он хотел, чтобы Юхан запряг лошадей в сноповязалку и они испытали бы ее на ржаном поле, ну только немножко, немножко, ну совсем немножко...

Юхан страшно возмутился:

— Сдается мне, господин майор вовсе спятил! Па мне, дак ему *и в самом деле* энто дельть ни к чаму!

Однако Черстин сказала:

— Не будь, Юхан, так жесток! Разве ты не понимаешь: это все равно что подарить мальчишке на Рождество игрушечный поезд, а потом потребовать — пусть, мол, дождетя Пасхи, чтобы поиграть с ним.

И Юхан, бурча, запряг Блаккен, Сиккен и Бленду в сноповязалку, и впечатляющее представление на ржаном поле началось. Все, что жило и дышало в усадьбе Лильхамра, присутствовало там в качестве публики. Сноповязалка тронулась в путь и, о радость, начала услужливо выплевывать нарядно связанные снопы! Папа же выглядел таким высокомерным, словно он сам, а не Мак-Кормик сконструировал это чудо.

— Подумать только, все изменилось с тех пор, как я был ребенком, — сказал он. — Помню, тогда четыре работника сначала скашивали рожь, а за каждым косарем шла женщина, собиравшая урожай, а потом являлись еще четыре женщины, связывавшие рожь в снопы. Двенадцать человек требовалось для этой работы, а теперь Юхан выполняет ее совершенно один и при этом сидит себе спокойно на сноповязалке и разъезжает по полю, что твой граф!

— Да, уж в техные времена были люди в Швеции, которые хотели быть землепашцами. А ноне подались они все вместе в город, вот и корячаться заместо их должны машины, — сказал Юхан.

Папа и Юхан, углубившись в эту тему и дав волю фантазии, рисовали картину будущего. Папа считал, что работники тогда будут вовсе не нужны. Только крестьянин проснется поутру, как ему понадобится лишь нажать сколько-то кнопок, и — раз! — множество машин и заработает. Откроются люки, из которых посыплется корм для коров и лошадей. Не успеешь и глазом моргнуть, как с потолка протянутся длинные автоматические руки, которые сразу же начнут чистить лошадей. Молоко от коровы польется прямо в длинную трубу на молокозавод. Сено будет скошено самоманеврирующей по полю сенокосилкой и, высыхая по дороге, станет задуваться на сеновал с помощью вентиляторной трубы. Юхан с сияющими глазами слушал папу, а я понимала, как у него и у папы прямо-таки чешутся руки, так им не терпится поскорее нажать на эти самые кнопки и поглядеть, как сразу заработают все эти машины.

— Да, а еще бы завести огромный агрегат, чтобы разбрызгивал навоз прямехонько от коров через ворота скотного двора да на поля, — с воодушевлением произнес Юхан.

Но тут Черстин сказала, что попросила бы сообщить ей заранее, когда они нажмут на все эти кнопки, чтобы она могла провести тот день дома за чтением интересной книги.

В ожидании всех этих технических шедевров мы пока откровенно радовались нашей сноповязалке. Но Юхан сказал, что в здешнем приходе вплоть до третьего и четвертого поколения будут рассказывать о том, что однажды летом учудил этот психованный майор из усадьбы Лильхамра еще до того, как рожь созрела.

В тот вечер лошадям задали сытный корм.

Мне же, по правде говоря, чтобы взбодриться, требовался еще один-другой аукцион. Мое настроение большей частью было на нуле. Я ничего не говорила ни одной живой душе, даже

Черстин. Но однажды вечером, когда я переодевалась, чтобы пойти погулять с Кристером, Черстин, сидя на краешке своей кровати и глядя на меня, вдруг сказала:

— Черт побери, как же подло ты себя ведешь!

— Разговаривай с больной поласковой, — дрожащим голосом сказала я, так как именно тогда ее неодобрение было больше того, что я могла вынести. — И подумай о том, что ты гораздо старше и разумнее!

И прежде чем я успела этому помешать, слезы точно горошины покатались у меня по щекам. Тогда Черстин смягчилась, и я горько заплакала, прижавшись к ее плечу.

— Не думаешь ли ты, — выдавливала я из себя между всхлипываниями, — не думаешь ли ты, что лучше бы мы были тройняшками? Тогда бы этого никогда не случилось, потому что нас троих хватило бы на них на всех.

— Возможно, — сказала Черстин. — Но кто в таком случае дружил бы с Бьёрном, а кто бы разъезжал по округе с Кристером?

— Абсолютно ясно, что я бы дружила с Бьёрном! Нам не хватает еще одной сестры!

Я вдруг почувствовала глубочайшую неприязнь к своей нерожденной сестре-тройняшке. Чего она явилась сюда и развоображалась? По мне, так пусть бы разъезжала хоть по всей стране в красном автомобильнике, но держалась бы подальше от Бьёрна! Если она из таких, что думает наложить лапу на моего Бьёрна, то все же хорошо, что она никогда не появилась на свет.

Но у меня было совсем немного времени, чтобы злиться на нее. Знакомый гудок автомобиля раздался у ворот, и мне пришлось быстро окунуть лицо в холодную воду и надвинуть на одно ухо беретик.

— До свидания, глупый ты зяблик, — сказала Черстин и как бы в знак утешения ткнула меня кулаком в бок.

Кристер был весел и возбужден, как обычно, а я болтала чепуху, все, что приходило мне в голову. Мы собирались полюбоваться видами природы на расстоянии нескольких миль отсюда. Но не успели мы еще доехать туда, и автомобиль еще не остановился, как Кристер, пытливо заглянув мне в глаза, сказал:

— Я без ума от тебя, Барбру! Ты не такая, как все. Ты не похожа ни на одну из девочек, которых я встречал.

— «Гм», — сказал граф^[51] с ударением на каждом слоге! Скольких маленьких девчонок ты пытался сбить с пути истинного, произнося эти слова? — поинтересовалась я.

И тогда он заявил, что я, мол, слишком молода, чтобы быть столь циничной.

Я же ответила ему: то, что он назвал цинизмом. — всего лишь обычный здравый крестьянский разум.

Мы довольно долго любовались открывшимся перед нами видом. Так долго, что в конце концов я устала от всего и подумала: «Этот ландшафт так же правдив, как то, что я живу на свете».

Когда он высадил меня у калитки, я так же правдиво сказала Кристеру, что ему надо поискать себе другую девчонку, чтобы разъезжать с ней по окрестностям и любоваться видами природы.

— Но смотри, поищи сильную девчонку, — добавила я. — Девчонку с сильным характером и с сильными руками. Потому что это понадобится.

Тринадцатая глава

Однако же жизнь в усадьбе Лильхамра шла своим размеренным ходом, совершенно независимым от моих сердечных мук. Сено все равно пришлось бы складывать на сеновал, даже если бы я в это время, нагоревавшись, довела себя до чахотки. Черстин и я правили каждая своей парой лошадей, хотя Юхан постоянно протестовал, считая рискованным разрешать маленьким девочкам править возом с сеном. Слова его были, разумеется, справедливы, потому что в один прекрасный день меня угораздило наехать на камень и опрокинуть воз, да и сама я упала и сильно ушиблась, так что моя многообещающая карьера возницы закрылась для меня навсегда. Папа, прежде совершенно не возражавший, чтобы мы правили лошадьми, и полагавший лишь, что Юхан просто труслив, побледнел под своим загаром и решил вдруг запретить нам возить даже молоко. Но Юхан сказал, что между возом сена и повозкой с молоком огромная разница, а Юхан всегда прав. Потом Юхан и Улле правили возами с сеном, а Ферм грузил сено в поле на повозку. Черстин и я помогали разгружать сено дома на сеновале. Это требовало бесконечно большего труда, но зато было не так рискованно.

Для ребятешек Ферма время уборки сена было величайшей радостью! Они разъезжали на возах с сеном и прыгали, как воробышки, по всему сеновалу. Они залезали на балки высоко-высоко, под самую крышу, и падали оттуда навзничь на сено. Я всякий раз закрывала глаза от ужаса, думая, что если их внутренности и дальше останутся на прежних местах, то это будет просто настоящее чудо.

Иногда несколько дней подряд шли дожди, и тогда в развозке сена наступал перерыв до тех пор, пока оно снова не подсыхало. Но ни в коем случае не думайте, что это означало остаться без работы! Раньше мы даже не могли представить себе, что в мире столько работы и сколько ее требуется в сельской усадьбе. Ведь на нас с Черстин была возложена обязанность содержать в порядке огород, и там, клянусь, можно было потратить множество свободных часов. В поте лица своего очистишь наконец огород от сорняков до такой степени, чтобы получить хоть небольшое удовольствие от плодов своего труда, а когда дня через два приходишь порадоваться, от сорняков уже проходу нет. Никогда в жизни не видела я ничего более буйного и изобильного, чем сорняки.

— Здесь, должно быть, ужасно плодородная почва, — говорила Черстин. — Если так будет продолжаться, то нам придется приходиться сюда с топором, чтобы прорубать себе путь, как в первобытных лесах Бразилии.

В усадьбе Лильхамра было много вишневых и черешневых деревьев, и, по мере того как созревали ягоды, мы с Черстин были страшно заняты их сбором. Да и не мы одни! Папа, мама и Эдит помогали нам, но Черстин и я были как будто лучше приспособлены залезать выше всех на верхушки деревьев. И сколько мне суждено жить, я буду считать одним из величайших наслаждений, какие только есть в мире, вспорхнуть солнечным днем на дерево и сидеть там с корзинкой на животе, бросая большие желто-красные черешни попеременно то в корзинку, то в собственный жаждущий рот. Думаю, вишен и черешен в саду усадьбы Лильхамра было больше, чем в любом другом саду округи. Мы ели вишни и черешни, мы дарили вишни и черешни, мы сушили и продавали их. Каждый день на нашей повозке с молоком стояла пара ящиков с ягодами, которые мы потом везли вниз к железной дороге. Скупщик забирал их там у нас, чтобы переправить дальше, в большие города. Черстин и я посылали также и множество сочувственных мыслей бедным тамошним жителям, которым приходилось платить грабительские цены за то, что мы поглощали в таком греховном изобилии. Нам, правда, грабительских цен за ягоды не платили. Ведь и скупщику надо на что-то жить, это понятно. В

один прекрасный день Черстин и я решили продавать вишни сами — без посредников. Поставив по большой коробке из-под сахара на багажники велосипедов, мы покатали вниз в поселок. Стоя на рынке, мы продавали вишни до полудня — так, что пар стоял. Мы продавали дешево, а если появлялся ребенок, выглядевший голодным и у которого не было денег, мы все равно давали ему кулечек с вишнями. Но, во всяком случае, вернувшись домой, мы все-таки привезли двадцать шесть крон и пятьдесят эре. Мы выложили деньги папе под нос, но он сказал, что мы можем оставить их себе.

— Не разбрасывайся деньгами, — сказала я ему, — потому что потом будешь раскаиваться.

— Можешь по крайней мере поделить с нами добычу, — великодушно предложила Черстин.

Но он продолжал настаивать, чтобы мы взяли деньги себе. Мы поблагодарили его звонкими поцелуями и ринулись в Гнездовье Патрончиков, где поместили сокровище в пустую коробку от сигар. Ощущение было примерно такое, будто нам открыли доступ в Государственный банк Швеции. Но хуже всего то, что наше богатство породило ужасающую алчность и нам захотелось его приумножить. Мы решили образовать акционерное общество, деятельность которого охватывала бы все — от продажи ягод до сбора металлолома. Мы бросали корыстные взгляды на все старые плуги и на другие железные предметы и произвели непосредственную ревизию всего железного инвентаря в усадьбе.

Но Юхан сказал, чтобы мы успокоились до тех пор, пока не появятся деньги, чтобы купить все новое.

— Деньги, чтобы купить все новое! — с чувством превосходства заявила Черстин. — Мы, вероятно, раздобудем их, если только нам удастся продать немного металлолома. Вообще-то мы можем разъезжать по усадьбам и петь, и выступать, и показывать разные фокусы. Да и за то, чтобы только увидеть, как мы с Барбру делаем гимнастические упражнения, стоит, должно быть, заплатить по крайней мере двадцать пять эре.

Но тут я сказала, что это, вероятно, слишком решительный способ попытаться справиться со скукой в сельской местности, и, подумав как следует, Черстин согласилась со мной. Вообще-то времени для сбора металлолома у нас не оставалось. Каждая минута все же была занята. Работы было много, но чувство глубокого удовлетворения приносило сознание того, что ты каким-то образом почти необходим. И что непременно будет заметно, если ты вдруг усядешься сложа руки и откажешься приносить пользу. А еще то, что всю работу в усадьбе Лильхамра мы выполняем вместе. То была совместная работа всей семьи, и думаю, именно поэтому мы ощущали такую неразрывную связь друг с другом.

Я была бы абсолютно счастлива, если бы не было так ужасно плохо без Бьёрна. Да и собой я была так недовольна! Под конец я не могла уже выдержать, мне необходимо было побеседовать с кем-то, кто бы понял меня. И однажды вечером, когда мама, сидя в одиночестве на кухне, нарезала ревеня и набивала им бутылки, я, усевшись на дровяной ларь, сказала:

— Мама, одна только работа не помогает!

— Как так, что ты имеешь в виду? — спросила мама.

— Я имею в виду: не помогает стать счастливой. Помнишь, ты об этом однажды говорила. А я надрываюсь, как маленькая рабыня-негритянка. Но разве я счастлива? Нет, ничего подобного! Должно быть, есть еще какое-то средство, которого я не знаю или уже давным-давно позабыла.

Мама некоторое время молча нарезала ревеня, но потом, задумчиво взглянув на меня, сказала:

— Думаю, я знаю средство, о котором ты позабыла. Оно, вместе с великим множеством других прекрасных заповедей, если мы ныне будем называть их так, запечатлено в Новом Завете

и звучит так: «...Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними»^[52]. Другими словами, я хочу сказать: если хочешь, чтобы кто-то был верен тебе, ты сама должна быть верна. Ты считаешь, что была верна?

— Нет, конечно, не была, не была я верна! Но что же мне теперь делать? Я должна терпеть муки раскаяния до самой смерти и никогда больше не быть счастливой?

— Будь добра, не преувеличивай! И готовься к тому, что будешь влюбляться еще полдюжины раз. Самое меньшее! Но если ты считаешь, что плохо вела себя по отношению к кому-нибудь, есть удивительно достойный способ — попросить прощения. А если и это не поможет, то, пожалуй, попробайся все-таки жить дальше и в будущем относиться к своим ближним так, как тебе хочется, чтобы они относились к тебе. Люби их, если хочешь, чтобы они любили тебя! Вообще, любить своих ближних — один из самых лучших способов быть счастливой.

— Да-а... ну и хорошенький совет ты мне даешь, — ответила я. — Ведь то, что я слишком любила своих ближних, и стало моим несчастьем. Я попыталась любить одновременно двоих из ближних, а как выяснилось, даже этого оказалось слишком много! А ты говоришь, что я должна любить два миллиарда ближних!

Мама терпеливо объяснила мне, что есть разница в понятиях «любить» и «любить», и твердо настаивала на том, что я должна любить всех своих ближних.

— Да, матушка, — послушно сказала я. — Но разреши мне, если можно, сделать небольшое исключение для крестьянина из Лёвхульты.

Мама сказала, что подумает об этом, и я ушла, так как Черстин со двора позвала меня. Она хотела, чтобы мы сбегали вниз к озеру и окунулись перед сном.

— Купайтесь не слишком долго! А после купания вытретесь хорошенько, — напутствовала нас мама.

— Нет, матушка! Да, матушка! — послушно сказала я. — Вообще-то ты мудра, как старая сова, — добавила я, потому что ведь надо же время от времени добрым словом поощрять родителей!

После купания я пошла за Адамом Энгельбрехтом, привязанным за скотным двором. Так как однажды у него был метеоризм, папа больше не разрешал оставлять его пастись по ночам, возможно из страха найти его утром сдохшим. Войдя в хлев, Адам Энгельбрехт с явным удовольствием стал чесаться о стойло, а я отправилась за скребницей, чтобы почистить его и продлить его наслаждение. Беседа с мамой открыла все шлюзы в моей душе, и даже сейчас, скребя быка, я не могла остановиться и продолжала жаловаться на свою беду.

— Адам Энгельбрехт, — говорила я, — если хочешь увидеть некую личность, которая еще большая скотина, чем ты, то, хотя бы развлечения ради, взгляни на меня одним глазком. Да, я — свинья, понимаешь, я — дура, я — скотина, страшная скотина, да, совершенная скотина, и не вздумай мне возражать! Полагаю, ты уже знаешь, что я натворила? Естественно... естественно, я стала легендой всей усадьбы Лильхамра. Нет, Адам Энгельбрехт, не утешай меня поговорками типа: «Потеряешь одного, найдешь тысячу других». Так можешь говорить только ты, у которого хлев битком набит очаровательнейшими коровами. Они, конечно, сейчас на пастбище, на подножном корму, но когда настанет осень, они снова вернутся к тебе, преданные и верные. Со мной же, понимаешь, все иначе! Единственный, кто действительно имеет для меня значение, ушел и не вернется никогда! И это — моя собственная ошибка! Ты говоришь, я не виновата, что нравлюсь другим. Ха-ха, Адам Энгельбрехт, теперь ты уже так по-мужски наивен, что этого просто предостаточно. Девочка всегда «виновата», можешь передать это Эльхумле от меня, на случай если бык из усадьбы Блумкулла начнет приударять за ней. Ты бы видел, как я кривлялась! Буйный смех, и лукавые взгляды, и все такое... Говоря между нами, хотя мне

стыдно в этом признаться: если и было что хорошего у Кристера, так это автомобиль! И летная форма! Это чудовищно, но это правда! Однако теперь я излечилась, можешь мне поверить! Даже генерал-майор при полном параде, с галунами спереди и сзади, не заставит меня повернуть голову в его сторону. Мама говорит, что можно попросить прощения... А что ты-то, собственно говоря, думаешь о таком предложении? Я охотно бы так поступила, если бы только знала, что ему это хоть капельку интересно. Но ты, вероятно, понимаешь, что это не так! Он ушел! Ушел навсегда!

Бросив скребницу, я выбежала из ворот скотного двора. Мне ведь не хотелось, чтобы Адам Энгельбрехт видел, как я плачу.

Четырнадцатая глава

Однажды в июле у фру Ферм очень разболелся живот, и, поскольку она была из простонародья, то есть из тех людей, которые перенесут какие угодно муки, только бы не подвергнуться чему-то столь чудовищному, как посещение лекаря, она лежала дома, пока не лопнула слепая кишка. Но тут приехала машина «скорой помощи» и увезла ее в поселковую больницу. Дети плакали и громко орали, словно их резали, а Ферм был испуган и совершенно сломлен. Но не настолько, чтобы уже на следующий день не начать ломать голову, на ком ему жениться снова, если с Хильдой случится беда. В таком случае он возьмет в жены молодую и красивую женщину, доверительно поделился он с мамой.

Мама бросила критический взгляд на Ферма, чьей грязной физиономии было довольно далеко от расхожего идеала красоты — по меньшей мере на несколько метров.

Мама осторожно намекнула Ферму, что, возможно, будет не так-то легко найти кого-нибудь, кто согласится выйти за него замуж. Но в этом отношении Ферм был полон уверенности в себе. Хотя и добавил, что, естественно, хотел бы сохранить Хильду, но предусмотрительность ведь никогда не помешает.

— Может быть, Ферм, ты начнешь с того, что найдешь кого-нибудь присматривать за хозяйством и детьми, — посоветовала мама.

Ферм обещал этим заняться, но все оказалось безрезультатно. В сельской местности человек не может вот так просто лечь и заболеть. Моментально возникает хаос, поскольку никогда нет никого, кто бы его заменил. Черстин пришлось вторгнуться в хозяйство в качестве доярки, и она ужасно вообразала и пыжилась от гордости, что способна заменить Хильду. Но ей пришлось вставать в пять часов утра, и после нескольких дней всю гордость с нее почти как рукой сняло, и она начала немного склоняться к тому, что доильные машины нужны, да, и они тоже...

Но Ферм со своей орущей стайкой детей по-прежнему оставался без всякой помощи. Старшие дети подались из дому, чтобы найти работу на лето. Двое из них пристроились внизу на заводе, потому что гораздо престижнее быть заводским рабочим, чем рыться в земле, надрываясь в сельском хозяйстве. Самого младшего — новорожденного — фру Ферм взяла с собой в больницу, но дома оставалось еще по крайней мере пятеро ребятишек от четырех до десяти лет.

— Что будет, если нижеподписавшаяся возьмет на себя почетную обязанность? — спросила я маму. — Может, у нее тогда не будет времени думать о своих сердечных страданиях?

— Ты в самом деле думаешь справиться с этим? — колеблясь, спросила мама.

Но по выражению ее лица можно было догадаться, что она испытала чувство облегчения. Да и вообще, никакого другого выхода не было. Эдит нельзя было отрывать от ее дел. Частично ей приходилось доить коров, обихаживать кур и поросят, а частично стирать, гладить, печь и мыть посуду. Черстин же доила, собирала ягоды, пропалывала огород и помогала даже с прочими неожиданно появляющимися работами вне дома.

Я, нацепив на себя большой кухонный фартук и материнское выражение лица, отправилась к моему новому полю деятельности. На крыльце, ведущем в сени Ферма, сидели оставшиеся без матери детишки, все до одного белобрысые и голубоглазые, покорно ожидавшие моего появления. Я изо всех сил старалась, чтобы мое выступление было достойным и внушающим доверие.

— Мои дорогие детки, — сдержанно сказала я. — Вы видите перед собой тетеньку, которая

будет заботиться о вас в ближайшее время. Вы даже представить себе не можете, как о вас будут заботиться! Но помните, — я угрожающе подняла указательный палец, — я потребую от вас слепого послушания.

— Дула! — произнес Малыш Калле.

Сметя на своем пути всю ораву детей, я влезла в кухню... Долгое время я молча, зажмурив глаза, стояла на пороге. Затем снова открыла глаза — быстро-быстро. Нет, к сожалению, то не был обман зрения. Немытые тарелки и кружки по-прежнему стояли высокими штабелями, занимавшими весь столик для мытья посуды. Вообще весь интерьер был такой, что мне пришлось пробормотать себе самой несколько бодрящих крепких словечек, чтобы обрести силу и приняться за работу. Но приняться надо было немедленно! На плите появился котелок с водой. Бенгта и Вальтера, двух старших мальчиков, я послала принести дров и побольше воды. И с шумом и звоном примерно целый час я мыла посуду. Рут и Анна, маленькие девочки, помогали мне ее вытирать. Затем я убрала самый страшный накопившийся мусор, а потом жарила свинину и картофель как раз до тех пор, пока со скотного двора не явился Ферм. Затем я снова осталась одна с детьми. И тут моя жажда деятельности достигла невиданной высоты. Снова нагрел побольше воды, я выставила на крыльцо большую лохань. Вооруженная щеткой и мылом, я обрушилась на несчастных малышей. Они наверняка не соприкасались с мылом и водой с тех пор, как фру Ферм заболела, да и, возможно, еще задолго до этого. Они нуждались в купании, а больше я ни слова не скажу. После того как через десять минут я мало-помалу соскребла с них самую поверхностную грязь, я подобралась и к самим детенышам. И тогда уже показался нижний слой — розовая детская кожа. Некоторое время ребята подвывали, особенно мальчишки, но я обрушивалась на них, как стихийная сила, непреклонно и без всякого сострадания. Затем, принеся садовый шланг, я стала поливать их водой, и этот душ доставил им гораздо больше удовольствия! Мы играли, будто я колдунья, орудующая волшебным огненным лучом, которого надо во что бы то ни стало избежать, и детишки улепетывали от меня, бегая с громкими криками и хохотом, да с такой энергией, словно действительно вопрос стоял о жизни и смерти. У Малыша Калле был ужасно испуганный вид, так как он был совершенно и абсолютно убежден, что, лишь только его настигнет огненный луч колдуньи, настанет его последний час. Я сама находилась в состоянии высочайшего охотничьего азарта, и мне, во всяком случае, было так же весело, как и детям. Мы продолжали игру, пока ребята не начали синеть от холода, и я заторопилась уложить их поскорее в постель.

Дом их располагал тремя спальными местами — одним выдвижным диваном в кухне и двумя кроватями в единственной горнице Ферма. В одной кровати спали Бенгт и Вальтер, в другой — Рут, Анна и Малыш Калле. Любящими руками я подоткнула им одеяла и тут же быстренько решила, что у меня самой когда-нибудь будет по меньшей мере десяток ребятшек, чтобы рассовывать их по вечерам в кроватки, так как это в самом деле по-настоящему уютно. По настоятельным просьбам Малыша Калле я рассказала им сказку о маленьком мальчике, который отправился в лес и нашел там под камнем миллион золотых монет. Таким образом мы дошли до разговора о том, что бы мы сделали, если бы у нас был миллион. Бенгт и Вальтер приобрели бы себе самолеты, и автомобили, и карамельки, Рут и Анна накупили бы кукол, и красивых платьев, и браслетов, и велосипедов. Малыш Калле ничего сначала не сказал, но, подумав немного, произнес:

— Дали бы мне миллион, у меня была бы собственная отдельная кроватка.

Я посмотрела на него, втиснутого между двух старших сестер: маленькое, трогательное существо, у которого едва можно было разглядеть кончик носика. И я дала себе священную клятву, что маленький пострел получит собственную кровать, даже если мне придется ее украсть. Однако зайти так далеко мне не пришлось. Я позвонила Анн и посоветовалась с ней, а

потом запрягла молочную повозку и поехала в Моссторп, и забрала кровать, принадлежавшую Мальшу Гангстеру, когда он был в более нежном возрасте. Она была по-настоящему хороша! В столбике кровати виднелись, правда следы от гангстерских зубов, предположительно оставленные там как-то раз, когда владельцу кровати не позволили проявить свою волю. Кровать была с матрацем, а шерстяное одеяльце дала мне добрая мама Вивеки и Анн. Потом я поехала домой, и мне вслед среди прочих махали рукой Тур и Кристер, узжавшие в тот же вечер. Я была очень довольна своим приобретением. Потом я выпросила у мамы пару старых простынь и перетащила все контрабандой на чердак Ферма, так как считала, что кровать должна быть сюрпризом.

Она и стала сюрпризом! Я посвятила в тайну остальных детей, и только Мальш Калле парил в неведении о том, какая радость его ожидает. Когда вечером следующего дня настало время ложиться спать, кровать, застеленная и красивая, уже стояла посреди горницы, а мы — в страшном напряжении — ожидали, что скажет при виде ее Мальш Калле. Другие дети уже сидели наготове в своих постелях. Вероятно, никогда прежде они так не торопились рухнуть в кровати и на диван.

Мальш Калле был у отца на скотном дворе и притопал домой в восемь часов вечера, голодный и грязный. Я отмыла его в кухне, и он поужинал.

Остальные дети уже лежали в постелях.

— Поторопись, если хочешь послушать какую-нибудь сказку! — сказала я Мальшу Калле.

Он быстро вбежал в горницу и уставился совершенно непонимающим взглядом на кровать.

— Она твоя, Мальш Калле! — ликующе закричали его сестры и братья.

Мальш Калле с сомнением во взгляде посмотрел на меня, и мне дважды пришлось заверить его, что кровать в самом деле его собственная. Он чуточку дурашливо засмеялся, а потом подошел и осторожно ощупал кровать. Затем похлопал ее ручонкой и быстро залез в постель — личико его выражало неизъяснимое блаженство. Этим вечером я снова рассказывала сказку, но Мальш Калле не слушал. Он только лежал, проводя ручонкой по простыне и время от времени поглаживая столбик кровати.

На следующий день я принялась за генеральную уборку, с одной стороны, из-за моей естественной страсти брызгаться в воде, с другой стороны, потому, что это действительно было необходимо. Подозреваю: у фру Ферм было предостаточно других дел кроме того, чтобы так уж тщательно заниматься уборкой. Когда необходимо доить коров, и мыть подошники, и готовить еду, и обстирывать такую громадную семью, то приобретаешь, пожалуй, некоторую склонность несколько снисходительно относиться к мушинуму дерьму. Похоже, оно пребывало в доме с середины девятнадцатого века. Стены и потолок были сплошь покрыты черными крапинками, а шторы буквально просили, чтобы их выстирали. Именно такую работу я и люблю, мне хочется видеть, что там, где я прошлась, все сверкает чистотой. Я чистила щеткой, и скребла, и терла мушиные следы, и мыла окна, и стирала шторы, так что Ферм под конец серьезно задумался, не перебраться ли ему совсем на скотный двор. Я постелила чистую бумагу на полки в шкафу, и проветрила постели, и надраила кастрюли, и почистила плиту. Рукам моим все это было не очень-то хорошо, зато полезно моему ноющему сердцу. Когда все было готово, я, взяв с собой Мальша Калле и девочек, пошла в поле нарвать немного цветов, чтобы украсить горницу и кухню. Мы собрали чудесный букет синих колокольчиков, и многолетнего лабазника с желто-белыми цветами, и алых маков, и разных других цветов.

Когда я поставила их в вазу посередине кухонного стола, а солнце проникло сквозь чистые стекла на кухню и во всей лачуге запахло чистотой, я испытала огромное удовольствие от дела рук своих. Но когда через некоторое время вошла, чтобы повидаться со мной, Черстин и я,

восторженно вздохнув, спросила ее: «Чувствуешь, как пахнет в доме?» — она грубо ответила:

— Да, пахнет крупным и мелким шведским красным и белым скотом, вот чем тут пахнет!

И она, вероятно, была права, так как Ферм только что нанес краткий визит домой, чтобы выпить чашку кофе. И многое может погибнуть, и исчезнуть на свете, и стереться в памяти, но навсегда сохранится уютный запах скотного двора, овевающий старого скотника.

Слишком уж большого опыта в приготовлении пищи у меня не было, и, когда я читала в поваренной книге такие удивительные вещи, как: «Тушить в небольшом количестве мясного бульона», или: «Приготовь обычный белый соус», я начинала косить на оба глаза. Я делала все, что в моих силах, готовя «обычный белый соус», но это было сплошное недоразумение! Ничего более необычного, нежели этот обычный белый соус, я никогда — ни раньше, ни позже — не видела. Один раз я варила рисовую кашу, и эта каша вошла в историю. Для начала я быстро вычислила величину детской оравы и подумала, что пусть, пожалуй, малыши наедятся досыта. И тогда, наполнив кастрюлю ровно до половины рисом, я плеснула туда молока. После чего стала причесывать Мальшца Калле, чтобы он красиво выглядел. Посреди этого увлекательного занятия я услышала какое-то бульканье из кухни. То кипела каша, поспешно выливавшаяся на плиту. Я быстро вытащила кастрюлю больших размеров и перелила туда кашу. Снова перешла к Мальшцу Калле, однако новое бульканье прервало мое занятие. На плите высылось еще больше каши! Вытаскиваю новую, больших размеров кастрюлю! На этот раз я взяла котел для консервирования. Но и его едва хватило!

Я заглянула в поваренную книгу, что забыла сделать раньше, и прочитала: «Если думаешь сварить кашу на шесть персон, надо взять половину кофейной чашки рисовой крупы». Я же взяла, по-моему, как раз восемь-десять кофейных чашек. И с помощью таблицы умножения вычислила, что могла бы накормить рисовой кашей тридцать человек, и, пожалуй, еще немного осталось бы. Ну и ели же в ближайшие дни в скромном жилище Ферма рисовую кашу! Когда она в четвертый раз появилась на столе, раздался легкий ропот, но я силой подавила все попытки мятежа и намекнула, что в мире полным-полно маленьких детей, которые радовались бы, если бы их накормили этой вкусной кашей.

— Пусть они ее и едят, — предложил Вальтер, с отвращением глядя в тарелку.

В тот же день мама спросила меня, как я, вообще-то, справляюсь с хозяйственными заботами.

— Чем ты кормишь детей? — поинтересовалась она.

— Гм! В основном — рисовой кашей, — ответила я.

Но я готовила довольно много и другой еды, которая мне удавалась гораздо больше. Я была специалистом по фруктовым супам и киселям и могла бы удостоиться почетного диплома в искусстве жарить сельдь и свинину. А за ужином, несмотря на то что он не всегда бывал удачен, я утешалась тем, что духовная пища важнее. Не было лучшего средства заманить ребятишек в постель, чем пообещать им рассказать сказку. И «Сампо Лопаренок»^[53], да и «Мальчик-с-Пальчик»^[54] обладали удивительной способностью заставить их уклониться от умывания по вечерам. Анна охотнее слушала рассказы из библейской истории. И когда я рассказывала об Иосифе и его немилосердных братьях^[55], бросивших его в колодезь, а затем продавших его в рабство в Египет, она пряталась под одеяло и плакала так, что ее всю трясло. И я вынуждена была заставить фараона явиться и надеть перстень на палец Иосифа гораздо раньше, чем было необходимо. Анна и Мальш Калле охотно слушали и о маленьком младенце Иисусе, и я, принеся нашу старую иллюстрированную Библию, показала им картинки. Там была цветная иллюстрация, изображавшая Иисуса в храме в возрасте двенадцати лет, и, когда я рассказала, как Иисус совершил вместе с родителями на Пасху паломничество в Иерусалим, где был этот

красивый храм, Анна чрезвычайно задумчиво сказала:

— Повезло, что они отправились в тот год, ведь тогда Иисус в последний раз мог ехать по детскому билету за полцены.

Ведь Анна была девочка экономная и недавно сама впервые проехала по железной дороге, так что знала все шведские правила.

Я просто жутко прилепилась к выводу Ферма, и, вообще говоря, это было веселое время в моей жизни, но в дальнейшем оказалось, что даже моей немереной рабочей силы было явно недостаточно, чтобы обихаживать дом и большую семью. Бывали часы, когда я страшно уставала. Поэтому я испытала облегчение, взявшее верх над чувствами, когда Ферм в один прекрасный день сказал, что ему удалось уговорить свою сестру помочь ему с хозяйством и дойкой коров.

Я сочла делом чести оставить своей преемнице дом в как можно более нарядном виде и последние дни страшно надрывалась, стараясь, чтобы повсюду было красиво. Поэтому я так устала, что меня угораздило почувствовать полное изнеможение; а вдобавок я стала ужасно злая и все время сердилась на малышей. Особенно однажды, когда все вокруг словно кто-то заколдовал. За что бы я ни бралась, все падало из рук, и малыши были необычайно шумливы, или же это мне только казалось. Мне надо было печь им на ужин блины, а они, сидя вокруг стола, кричали, словно воронята, требуя все новых и новых блинов. Выпечка не удалась, жидкое тесто некрепко прилипло к железу, и я скрежетала зубами и всеми возможными способами боролась со сковородкой, с круглыми углублениями для блинов. Но все превращалось лишь в отвратительную мучную кашу. Вдруг передо мной, вдобавок ко всему, предстал Малыш Калле и показал, что порвал сзади брючки и там появилась большая дырка. А поскольку у ребенка была всего лишь одна-единственная пара брючек, он заявил:

— Сицас зе засей их, а не то мне углом не выйти из дому!

Это было уже слишком! Я почувствовала, что хочу топтать ногами и нагло оскорбить кого-нибудь. Крепко схватив Малыша Калле за руку, я стала трясти его изо всех сил, говоря, что я просто не в силах чинить какие-либо брюки. «Тот, у кого нет брюк, пусть ходит с голым задиком, как с выщипанными перьями индюк», — немилосердно продекламировала я, и эти слова привели в восторг остальных братьев и сестер. Они стали повторять ту же поговорку, а Малыш Калле разразился душераздирающим плачем, после чего весь мой гнев мгновенно обратился против его братьев и сестер, и я сказала: тому, кто посмеет произнести хотя бы одно слово из этого стишка, я задам такую трепку, что он запомнит ее до глубокой старости. Потом я водворила их всех в постели и была настолько недружелюбна, что отказалась рассказывать сказку. Так что Малыш Калле жалобно произнес:

— Ни капельки не смешно, когда ты такая селдитая!

— Нельзя только и делать, что веселиться, — забыв о справедливости, заявила я.

Чем злее я становилась, тем больше ненавидела самое себя, а чем больше ненавидела самое себя, тем несправедливее становилась. В конце концов я подоткнула им одеяла так, что только пух и перья полетели, а потом вышла из домика и с шумом захлопнула за собой дверь.

Я остановилась на мостках, чтобы обдумать ситуацию, в которую попала. Я так устала, что ноги у меня подкашивались. И вот я стояла там, покинутая Богом и людьми, в грязном полотняном платье, а волосы мои пахли блинами. Мама и папа были на другом конце прихода, на пиру по случаю какого-то пятидесятилетия, Черстин прогуливалась где-то с Эриком, и даже Эдит не было дома. А Бьёрн, Бьёрн, БЬЁРН бродил по каким-то дорогам, далеко-далеко от меня.

Сначала мне хотелось отправиться прямо в Гнездовье Патрончиков и зарыться в кровать со своим горем и усталостью. Но вечер был удивительно красив, и, еле волоча ноги, я отправилась в ту самую рощу, где обычно сидела на березе; мы с Бьёрном располагались там бесчисленное

число раз, и, вероятно, погнал меня туда всплеск самоистязания. Я села, прислонившись головой к стволу березы, презирая самое себя и желая себе смерти.

— Добрый вечер! — вдруг услышала я голос.

Я подняла голову и увидела... там стоял Бьёрн! Бьёрн стоял там!

— Добрый вечер! — ответила я. — Добрый вечер, господин Сёдерлунд, — добавила я в душераздирающей попытке перевести все на шуточный лад.

И улыбнулась, как мне показалось, очаровательной улыбкой. Но улыбка обернулась лишь жалкой гримасой, и, к моему собственному удивлению, я громко зарыдала. Я безудержно ревела, и Бьёрн жутко испугался.

— Нет... но, Барбру, милая, что случилось? — обеспокоенно спрашивал он.

Но я только плакала в ответ.

— Барбру, из-за чего ты плачешь? — спросил он.

— Я плачу из-за того, что... Я плачу из-за того, что Малыш Калле разорвал свои брючки... — заикаясь, выдавила я.

— Да, но это, пожалуй, вовсе не бедствие государственного масштаба, — сказал Бьёрн.

— Да-а-а-а-а, — плакала я. — Вообще-то бедствие государственного масштаба — я сама. Не трать время на разговоры со мной! Найди себе какую-нибудь другую девочку, желательно не законченную идиотку.

— Я совсем не собираюсь искать себе какую-нибудь другую девочку, — возразил Бьёрн. — Я хотел только спросить, нет ли у тебя желания пойти со мной на озеро Кварнбушён поудить рыбу. Но ты, быть может, занята? Или не хочешь?

— Не хочу?! — заорала я. — *Не хочу?!* Я хочу вместе с тобой обойти всю провинцию Йёталанд, если можно!

И тут же побежала от него, а потом помчалась, вернее, понеслась галопом в Гнездовье Патрончиков, влетела в дверь флигеля и осадилась только перед зеркалом. И при виде своего красного распухшего носа и растрепанных волос, похожих на голые прутья с колючками, торчащих во все стороны, я тотчас отшатнулась от зеркала. Сбросив платье, я умылась и надела чистую белую блузку, а затем впрыгнула в новые брюки со скоростью, которой мог бы позавидовать любой пожарник. Затем, обмахнув лицо пуховкой с пудрой, я прошлась гребнем по волосам, а потом совершила скоростной пробег к Бьёрну, ждавшему меня у калитки. И я уверена, что поставила всешведский рекорд быстрого переодевания.

— Знаю, мне следовало бы вообще-то одеться в рубище и посыпать голову пеплом, — сказала я, беря Бьёрна под руку, — но я вместо этого надела новые брюки!

Всю мою усталость словно ветром сдуло. Наоборот, я почувствовала такой прилив физических сил, что не в силах была прогуливаться как обычно, а совершенно немотивированно прыгала, как коза, по окрестностям — то в одну, то в другую сторону. А когда я сидела на своем обычном камне у озера Кварнбушён и таращилась на тот же старый поплавок, а рядом со мной сидел на камне в двух метрах от меня все тот же прежний старый Бьёрн, я чуть не кричала от радости. Но мне велено было не забывать о рыбе. Во всяком случае, я вбила себе в голову: мне во что бы то ни стало необходимо сказать ему, как я расцениваю собственный образ действий.

— Бьёрн, ты, пожалуй, думаешь, что...

Именно в этот самый момент и клюнуло. Я вытащила маленького великолепного купальщика-окуня. Прошло некоторое время, прежде чем Бьёрн умертвил его и насадил нового червяка на крючок. Затем я опять закинула удочку и начала снова:

— Бьёрн, как я недавно сказала, тебе...

Тут клюнуло еще раз. Новый окунь! Перед тем как клюнуло в третий раз, я выронила лесу и в третий же раз начала опять:

— Бьёрн, то, что я хотела сказать тебе, это...

Я долго молчала.

— Ну говори уж наконец, — попросил Бьёрн.

— Так вот, — начала я, — я думала, что клюнет снова, поэтому не стала говорить, так как это очень трудно. Понимаешь?

— Забудь тогда об этом! Мне кажется, достаточно и того, что мы опять сидим здесь каждый на своем камне.

— Мне этого тоже достаточно, но если я как следует потороплюсь, я, возможно, успею сказать: «Прости меня!», прежде чем явится следующий окунь и вмешается в нашу беседу. Ты заметил, что я произнесла эти слова?

— Да, заметил, — ответил Бьёрн. — Но замечаешь ли ты, что у тебя снова клюет? Тащи, черт побери, и не ной! Я ведь сказал, что все all right!

По дороге домой мы, как обычно, поставили свои удочки в дровяной сарай Кварнбуторпа^[56]. Свен Свенссон сидел в сумерках на качелях и курил свою вечернюю трубку, а когда Мария услышала, что он болтает с нами, она вышла из дома и всплеснула от неожиданности руками.

— Боже мой, милые мои, да вы ли это? Как пусто было без вас! Я думала, вы никогда больше не пойдете к озеру.

— Не-а, кто бы в это мог поверить! — сказала я.

Мария сорвала большой, душистый розовый пион и подарила мне. И мы пожелали ей и Свену спокойной ночи.

Вернувшись домой, я прокралась в домик Ферма. Мальш Калле лежал в своей кроватке, такой необыкновенно милый, со следами слез на щеке. Когда я поцеловала его, он слегка зашевелился во сне, и я услышала какое-то слабое бормотание. Я отправилась в Гнездовье Патрончиков, захватив с собой его брючки, и украсила их по-настоящему крепкой и красивой заплаткой.

Пятнадцатая глава

В начале августа Черстин и я получили четырнадцать дней отпуска. Две недели озаренного солнцем блаженства, которым мы наслаждались до последней капли. По правде говоря, не каждое утро, но чрезвычайно часто либо Эдит, либо мама подавали нам какао в постель. А потом мы лежали, и дверь между нашими комнатами была открыта, и мы орали друг другу:

— Вставай, старая ты ленивая развалина!

Или:

— Утренний час дарит золотом нас!

Все это продолжалось до тех пор, пока мы наконец медленно не вылезали из кроватей и не бежали в одних купальниках прямо через парк вниз к озеру и не совершали утреннее купание. Собственно говоря, здесь было слишком мелководно, чтобы быть идеальным местом для купания. Чудесные скалы, с которых можно было нырять, со всех сторон окружали озеро — называлось оно вообще-то Виксен... И если мы испытывали желание нырять, то лишь перебежали наискосок наш коровий выгон и попадали прямо к нашей же личной купальной скале, где была бездонная бездна. В полдень мы часто ездили на велосипедах в Моссторп и пару часов играли в теннис с Вивекой и Анн. После полудня они обычно приходили к нам, большей частью в обществе Торкеля, если ему удавалось еще до полудня закончить уроки с Мальшом Гангстером. Бьёрн ухитрялся одновременно с нами урвать немного времени от своих занятий и уже рано утром мчался на велосипеде вверх по холмам и сопровождал нас повсюду — на воде и на суше. Черстин досадовала, что Эрик не может получить отпуск, но это было совершенно невозможно, потому что рожь уже созрела и ждала жатвы. Ивара же, работника из Блумкуллы, призвали в армию, к искренней радости Улле. Между тем выяснилось, что Улле ликовал преждевременно. Неожиданно Ивара отослали домой по причине плоскостопия. И в один прекрасный вечер он вынырнул в усадьбе Лильхамра, еще более плоскостопый и еще более неотразимый, чем когда-либо. Он пригласил Эдит на летний праздник Добровольного спортивного общества близ Фагервика. Во всяком случае, благодаря возвращению Ивара Эрику удавалось иногда выкраивать свободное время после полудня, и он присоединялся к нам, когда мы — компания невероятно обленившихся молодых людей — загорали на купальной скале у озера Виксен. Мы болтали и пили кофе и устраивали соревнования в плавании стилем crawl^[57], и вообще нам было так чудесно, как только может быть человеку на этой земле.

Чтобы еще больше приумножить ощущение каникул, Черстин и я развлекались иногда тем, что в самое горячее время, в самый разгар спешной работы шли поздороваться с Юханом и заодно взглянуть на мою собственноручно купленную на аукционе сноповязалку, которая работала теперь на полную катушку и скашивала рожь и пшеницу так, что любо-дорого смотреть. Юхан правил сноповязалкой, а Улле и Ферм складывали снопы в копны.

Когда мы появлялись на пашне, Юхан, придерживая лошадей, бросал на нас презрительные взгляды.

— Ленивые мамзельки! — говорил он. — Безделье — мать порока! Взяли бы хучь грабли да прибрали бы маленько.

— Да, тра-ля-ля! — восклицали мы. — У нас каникулы, ты что, Юхан, не понимаешь, у нас каникулы!

— Никогда не слыхивал энтаких глупостей, — говорил Юхан, понукая лошадей.

Однажды во время каникул по телефону пришло известие, что наш двоюродный брат, вновь испеченный поручик бронетанковых войск Карл Хенрик, двадцати трех лет от роду, нанесет на несколько дней визит в усадьбу Лильхамра.

— О! — воскликнула я. — Мои глаза не выносят и вида мундира. Прогоните Карла Хенрика! Застрелите его!

Но все мои протесты не возымели ни малейшего действия. Когда на следующий день в 3 часа 15 минут скорый поезд въехал на перрон, из вагона выскочил некий поручик, и ни один из видевших его не мог усомниться в том, насколько он — вновь испеченный. И было совершенно отчетливо видно, что сам он полагал это свое производство в поручики наиболее примечательным событием во всей мировой истории, по крайней мере с тех пор, как Карлу Мартеллу удалось оттеснить мавров^[58] при Пуатье в 732 году^[59].

Черстин и я сидели в дрожках позади станционного здания, и Карл Хенрик пружинящим шагом взял курс прямо на нас. Он тотчас нас узнал, хотя мы не виделись с тех пор, как Черстин и я были еще в том младенческом возрасте (от пяти до семи лет), когда обожают сласти на палочках, а он — длиннющим гимназистом, у которого ужасающе ломался голос.

— Ха-ха, мои маленькие кузины! — заорал он. — Как вы выросли, как вы выросли! Через два-три года можно будет даже начать общаться с вами. Сколько вам, собственно говоря, лет?

— Тридцать четвертого числа нам исполнится шестнадцать, — сказала Черстин, щелкая кнутом.

Он влез в дрожки с таким выражением лица, какое бывает у суверена^[60] по дороге на коронацию, затем откинулся на спинку дрожек и приказал:

— Поехали!

И Черстин погнала лошадей. Карл Хенрик с видимым удовольствием позволял своему взгляду скользить по красивым пейзажам, а потом милостиво сказал:

— А ведь здесь, право, уютно! Я не раскаиваюсь, что решил приехать сюда. Должно быть, некоторое общение с грубым простонародьем действует освежающе. Да и моим маленьким кузинам ведь тоже может понадобиться общество, которое их чуточку стимулирует.

— Твоя любезность просто ошеломляет нас! — воскликнула я. — Но ты действительно думаешь, что вооруженные силы могут обойтись без тебя? Вообще, не слишком ли безответственно уменьшать военную готовность и мощь страны в такой степени? Ведь нельзя с полной уверенностью сказать, что ты цел и невредим вернешься на свою военную базу. У нас здесь в сельской местности столько бешеных быков, да и грубое простонародье иногда тоже начинает буйствовать!

— Малышка, — снисходительно отозвался Карл Хенрик, — где ты усвоила такой дерзкий тон по отношению к старшим?

Но нельзя отрицать тот факт, что Карл Хенрик штурмом завоевал сердца простонародья. Его веселый смех зазвенел вскоре по всей усадьбе Лильхамра. Ребятишки Ферма следовали за ним по пятам, словно стайка щенят, с того самого дня, когда он привлек их изумленные взгляды, съев свои золотые часы у них на глазах, а затем с помощью колдовства извлек их из кармашка брючек Малыша Калле. Полное одобрение Юхана Карл Хенрик заслужил тем, что, вмешавшись в критический момент, самостоятельно починил сноповязалку. Об Эдит и говорить нечего! Она являла собой целую симфонию шаловливого смеха и буйных локонов, когда каждое утро в полной боевой готовности перебегала лужайку с кофейным подносом в руках к левому флигелю, где ныне имелись две комнаты для гостей. В лице фру Ферм Карл Хенрик тоже обрел друга на всю жизнь, всякий раз при встречах беседуя с ней об аппендиците. Она как раз вернулась из больницы и требовала безоговорочного признания себя высшим авторитетом в области медицины во всем уезде. Я уверена, что в тайниках души ее огорчало то, что никто в усадьбе не болел и не ложился в постель. Тогда бы она явилась и поставила диагноз. Она щеголяла шведскими и латинскими названиями болезней так, что можно было подумать: она в

любой момент готова сдать экзамен на звание лиценциата^[61] медицинских наук. И когда Мальш Калле пожаловался однажды, что у него болит животик, его мамаша с гордостью заявила, что у ребенка, вероятно, легкий гастрит. Однако Ферм, с чувством глубокого превосходства сплюнув табачную жвачку, сказал:

— Да никакой энто не крастит! Энто от незрелых зеленых яблок.

Карл Хенрик внедрился, естественно, и в компанию лентяев на купальной скале, и они с Бьёрном стали особенно закадычными друзьями, хотя и были совсем разными — как день и ночь. Мама и папа всегда питали слабость к Карлу Хенрику: мама — потому что он был сыном ее родной сестры, а папа предположительно потому, что Карл Хенрик был такой же веселый и шумливый, как он сам. И когда папа долго и со всеми подробностями развивал перед племянником свои сельскохозяйственные планы, Карл Хенрик слушал его с пламенным интересом, что заставляло папу рассматривать юного поручика как одного из высших, авторитетнейших представителей современной молодежи. Черстин и я настолько далеко в своем восхищении Карлом Хенриком не заходили. Однако мы довольно хорошо относились к нему, несмотря на то что нам приходилось проделывать колоссальную работу, дабы справиться с его замашками самодержца. В конце концов мы раздобыли небольшую картонную табличку с надписью: «Не высывайся!» и подкладывали ее ему под нос, когда это было нужно. А нужно было частенько. Но в целом юнец этот был по-настоящему необходим. Когда мама сидела в беседке, увязнув по уши в посевном горохе, он быстро брался за нож и садился помогать очищать его. И однажды целый день правил сноповязалкой, когда Юхану пришлось заняться другой работой.

Казалось, он исключительно хорошо уживается с нашим сельским существованием. Но однажды вечером, когда мы все собрались в общей комнате, он воскликнул:

— Неужели это и есть прославленная жизнь господских поместий? Я просто спрашиваю! Где эти блестящие праздники? Где литавры и цимбалы? Где прекрасные женщины, мягкие, как бельчата, которые, согласно всем законам человеческим, должны висеть на шее у своих кавалеров, паря в головокружительном вальсе?^[62]

Это кошмарное обвинение больно задело нас с Черстин. Мы предавались непрерывным размышлениям, и внезапно Черстин, подняв палец, воскликнула:

— Эврика! Устроим праздничный стол, основное блюдо — раки!

План был с восторгом принят и Карлом Хенриком, и мной. А добившись разрешения мамы, Черстин и я заторопились написать и разослать приглашения — Анн, Вивеке, Торкелю, Эрику и Бьёрну, и они звучали так: «Это приглашение на праздничный стол, где основное блюдо — раки. Праздник состоится в ближайшую субботу в 20 часов. Условие заключается в том, что сами гости помогают ловить раков, поскольку нельзя требовать, чтобы раки сделали это самостоятельно и поскольку наши денежные средства не позволяют раков купить. Место лова раков: озеро Кварнбушён. Время: пятница, 20 часов. Форма одежды: шорты и шерстяные свитера, старые изношенные башмаки или резиновые сапоги. Не забыть взять с собой карманные фонарики. Собираться возле Гнездовья Патрончиков. Приглашающая сторона захватит с собой корзины для сбора раков, кофе и бутерброды для поддержания жизни, а также один экземпляр наглого поручика, чтобы напоминать о человеческой смертности. Внимание! Слова эти абсолютно безобидны и безопасны! Приглашаем от всего сердца!»

Шестнадцатая глава

В пятницу вечером веселое оживление царило перед Гнездовьем Патрончиков. Шумная, хохочущая босоногая орава неотесанных юнцов — вот кто быстрым шагом отправился в путь по направлению к озеру Кварнбушён, а папа, мама, Эдит и ребятишки Ферма махали им вслед. Озеро — такое в сумерках мирное и мечтательное — раскинулось среди сосен и елей. Купаться в этом озере было не очень хорошо, дно для этого казалось слишком каменистым и илистым, но это было единственное в своем роде озеро, где водилось столько рыбы и раков.

Карл Хенрик был тем, кто первым влез в озеро, и так орал, шумел и бахвалился, как будто думал, что целый бронетанковый корпус следует за ним по пятам.

— А ты не мог бы чуточку приглушить свой громкоговоритель? — тихонько поинтересовался Бьёрн.

— А может, ты считаешь, что нам необходимо перепугать насмерть всех раков? — спросила Черстин. — Что касается меня, то я придерживаюсь старого способа — кипячения^[63].

Уже успело стемнеть, и, когда мы все вместе зажгли карманные фонарики, стало очень красиво. Мы рассыпались вдоль берегов. Дно было попеременно то каменистым, то илистым. Иногда ты проваливался в яму выше колен. Но вода была теплая. Я все время держалась поблизости от Бьёрна, потому что, должна честно признаться, немного боялась раков. Мы светили фонариками и видели, как там, на дне, ползало великое множество черных чудищ. Бьёрн быстро и умело хватал их и показал мне, как их брать, так что я мало-помалу набралась такого нахальства, что осмелилась опускать в воду свою пятерню и вытаскивать раков, причем один крупнее другого, и клала их в корзину. Вдруг мы услышали громкий плеск. Оказалось, что это Карла Хенрика совершенно неожиданно угораздило рухнуть в омут, да еще в такой глубокий, что вся его мужественная фигура скрылась под водой.

— Правильно! — сказал Эрик, когда Карл Хенрик снова появился на поверхности. — Нырять вслед за ним! Ни одна живая душа не должна уклониться от этого!

Нам было жаль Карла Хенрика, промокшего насквозь, поэтому мы на некоторое время прервали ловлю раков и развели на берегу озера костер. А я сбегала на Кварнбуторп и одолжила для кузена фуфайку. Потом мы сидели вокруг костра, пили кофе и исполняли воинственные танцы, чтобы не замерзнуть.

А потом мы потихонечку отправились домой с корзинами, полными шуршащих раков. В кухне мы их пересчитали. Раков было добрых двадцать четыре десятка. Наши надежды на завтрашний праздник оправдывались. Когда наутро Черстин и я возвращались с нашей купальной горки через коровий выгон, Черстин, внезапно вскрикнув, указала на склон холма. Моей первой мыслью было, что она увидела змею, но это была вовсе не змея. Весь склон холма был усеян толстенькими прелестнейшими лисичками.

— О, разве это не чудесно! — воскликнула я. — Теперь мы сможем вечером приготовить омлет с лисичками.

— Именно это я и подумала, — сказала Черстин, уже стоявшая на коленях и с молниеносной быстротой собиравшая грибы.

Нам было некуда складывать их, кроме наших купальных халатов. И домой мы принесли два объемистых узла с лисичками.

— А знаешь, что у нас будет на десерт? — спросила я. — Сбегаем-ка наверх, на большую каменистую осыпь близ изгороди пашни Норрйердет^[64], ведь там с ума сойдешь какая великолепная дикая малина!

Так мы и сделали, набрав за короткое время три литровые банки малины.

— Ну и праздник мы устроим, — восхитилась Черстин, так высоко подпрыгнув от радости, что уронила на землю часть малины, — ну и праздник!.. А в придачу еще и бесплатный пир!

Мы довольно долго радовались, пытаясь высчитать, сколько стоили бы в городе раки, лисички и малина!

— А кроме того, у нас ведь есть яйца для омлета от наших собственных кур и взбитые сливки для малины от наших собственных родных коров! Ну и лафа же быть крестьянами!

В полдень мы отправились на велосипедах вниз в поселок и купили разноцветных фонариков. Таковые, к сожалению, в угодьях усадьбы не росли. Мы взяли деньги, вырученные от продажи вишен, ведь мы вбили себе в голову, что папа и мама не должны тратиться на наш праздник.

Мы подумали, что, если погода будет хорошая, мы станем пировать в беседке, и еще мы подумали: так оно и должно быть. Карл Хенрик помог нам натянуть крест-накрест проволоку в беседке, и на ней мы и развесили наши разноцветные фонарики. Стол, обычно стоявший в беседке, был слишком мал и не годился для такой уймы гостей. Нам помогли приволочь в беседку большой стол из кухни, который мы накрыли бумажной скатертью и украсили вазами с желтыми ноготками. Напряженность этого дня совершенно сбила с толку нас с Черстин. Было столько разных планов, которые надо осуществить! Ни в коем случае не должен пойти дождь, лучше пусть светит луна! Омлет, который мы сами будем готовить, должен удался, раки, что Эдит сварила еще утром, должны быть в меру посолены. А еще должно быть весело!

В восемь часов вечера все было готово. Два гигантских блюда раков, увенчанных большими пучками укропа, царили посреди стола. Мы договорились с Карлом Хенриком, что, как только покажется первый гость, он зажжет разноцветные фонарики. Черстин, стоя в кухне, мешала тушеные грибы. Я сбивала жидкое тесто для омлета и резала хлеб, который по данному мне знаку должна была начать поджаривать. И когда велосипеды обитателей Моссторпа показались на горизонте у поворота, Карл Хенрик заорал:

— Порядок — готово — марш!

Омлет тотчас въехал в духовку, а Черстин и я выскочили во двор — встречать гостей. Потом я чрезвычайно рьяно поджаривала хлеб до тех самых пор, пока с другой стороны также не появился велосипед. Тогда я попросила Эдит ненадолго сменить меня, чтобы я смогла выйти и поздороваться с Бьёрном. И даже если мысли мои частично пребывали рядом с омлетом, я, во всяком случае, не могла не заметить, что Бьёрн выглядел необычайно приятно: очень загорелый, с выцветшими на солнце волосами, одетый в прекрасную белую рубашку с открытой шеей. А вот прямо из усадьбы Блумкулла появляется Эрик, широко шагающий по огороженным выгонам, а под конец прибывают и почетные гости — мама и папа. Мама так красива, она надела свое алое полотняное платье, и мы с Черстин обмениваемся взглядами, преисполненными тайного одобрения, потому что ничего более нарядного среди родительского сословия никто предъявить не сможет. У нас есть все причины быть довольными нашим выбором матери и отца.

Потом мы рассаживаемся на скамейках. Омлет — по словам Карла Хенрика — шедевр поварского искусства, хлеб — в меру поджарен, раки — в меру посолены, и нам *очень весело*. А как только у луны нашлось немного времени, она выкатилась на темное августовское небо, словно огромный огненно-красный шар, лишь для того, чтобы придать всему совершенный вид. Вечер был такой теплый, разноцветные фонарики так колдовски мерцали над раковой скорлупой, громоздившейся на наших тарелках, а за пределами беседки царила такая тьма! Карл Хенрик всадил в себя столько раков, что я в конце концов спросила, у *всех ли* поручиков танковых войск животы из стальной брони или же он — исключительное явление? И тогда он заявил, что мое воспитание, пожалуй, по-настоящему еще не закончено, но что он завершит его,

как только съест еще два десятка раков.

Когда мы добрались до десерта, Анн предложила нам спеть, что мы и сделали.

Из темноты, окружавшей беседку, до наших ушей вдруг донесся шепот, и, посмотрев туда, мы увидели ребятишек Ферма, сидевших, словно маленькие воробушки, на лужайке и наблюдавших за нашими развлечениями. А на крыльце Гнездовья Патрончиков с мечтательно-философским видом сидел Юхан.

У нас оставалось еще множество раков, и я спросила маму, нельзя ли пригласить к столу и детишек Ферма, и Юхана. И мама ответила, что раки ведь наши собственные! Эдит варила в кухне кофе, и я, побежав туда, сказала, чтобы она позвала Улле, если он еще не спит, и чтобы он захватил с собой гитару. Мимоходом она может ведь постучать и в домик Ферма, потому что намечается празднество большого масштаба. Улле пришел, но Ферма и фру Ферм не было дома, в чем нам, возможно, и повезло, если учесть запасы раков. Черстин и я поставили чистые тарелки, и все потеснились, чтобы другие гости добрались до угощения. Картина была примерно такая, словно рой саранчи вырвался на волю. Вскоре на одном из блюд осталась лишь маленькая жалкая клешня рака. К сожалению, малины мы предложить не смогли, но Эдит сварила побольше кофе, и мы выпили его все в унисон. Разумеется, все, кроме ребятишек Ферма. Конечно, Мальш Калле подошел ко мне и настоятельно попросил налить и ему немножко кофе, но я сказала:

— Ты, верно, думаешь, что я абсолютно утратила контроль над тобой! Нет, мой мальчик! Но лимонад ты получишь!

И Мальшу Калле дали лимонад, целую бутылку ему одному, и он был абсолютно счастлив. Потом Улле играл на гитаре. И после некоторых церемоний они с Эдит спели нам множество красивых и печальных песен, полных крови, любви и зла, а также внезапной смерти. Потом я попросила разрешить мне представить обществу детский хор усадьбы Лильхамра под управлением его выдающегося дирижера. И заставила ребятишек Ферма спеть «Лесную фиалку хочу я сорвать», песню, которую я репетировала с ними в эпоху рисовой каши. По внешнему виду ребятишек никак нельзя было сказать, что они жаждут сорвать лесную фиалку. Но мои строгие взоры сотворили чудо, и они запели, неохотно, но подлинно красиво.

В свое время дети и старцы отправились спать. Улле пригласил Эдит на прогулку вниз по направлению к лугу Ваккерэнген, предположительно для того, чтобы обменяться мнениями об Иваре — Черте Плоскостопом. Мы — остальные — последовали их примеру и отправились вниз к озеру на прогулку под луной. Было так прохладно и чудесно, лунный свет, словно серебряный луч, плыл по воде, и если мы на одну-единственную секунду замолкали, то слышали стрекот сверчков. Но было не так уж много секунд зараз, когда бы мы все замолкали.

В самой середине озера Виксен лежит маленький остров Кальвхольмен^[65], и оттуда-то мы и решили отправиться в плавание. Нам едва-едва хватило места на восьмерых в гребной шлюпке. Перила почти соприкасались с поверхностью воды, и нам приходилось сидеть абсолютно спокойно. Но все обошлось, и мы счастливо, без приключений высадились на берег. Мы уселись на горке с видом на озеро и были чрезвычайно всем довольны и болтали массу чепухи и все необычайно нравились друг другу.

— На самом деле, я рада, что вы переехали сюда, в усадьбу Лильхамра, — сказала Вивека.

— А как по-твоему, кто-нибудь не рад этому? — спросила Черстин.

Наш отпуск кончился, Карл Хенрик уехал, и жизнь снова пошла по-старому, своим чередом. Вся наша компания провожала поручика к поезду. Анн и Вивека сплели венки из васильков и по гавайскому обычаю повесили ему на шею. Он не протестовал, он был слишком опечален тем, что, как он сказал, приходится расставаться со всеми нами, и девочкам удалось сделать его посмешищем. Ему предстояло ехать всю ночь, и Черстин и я наготовили ему на дорогу множество бутербродов. С бесконечно печальным видом он мгновенно перебрал их и вытащил один с сыром. И когда поезд, запыхтев, тронулся в путь, он, стоя на площадке, освещенный вечерним солнцем, с венками из васильков на шее, горестно жевал бутерброд. Тяжелые клубы дыма от паровоза скрывали его временами от нашего взгляда, и, когда поезд прогремел по железнодорожному мосту, чтобы вскоре исчезнуть за кожевненным заводом, Карл Хенрик поднял бутерброд в знак последнего трогательного приветствия и исчез.

И — как уже сказано — жизнь снова пошла по-старому, своим чередом. Маму охватила великая горячка консервирования, так что Черстин и я не знали, куда бежать раньше, так как мама хотела, чтобы мы собирали овощи на огороде, и чистили их, и клали в банки. А папа считал, что нам лучше поработать граблями, убирая то, что осталось после сноповязалки. Мы, как могли, делали и то и другое. Мы чистили овощи, пока нам не начали сниться по ночам посевной горох, и цветная капуста, и фасоль, и мы в высшей степени разделяли мамино чувство удовлетворения, когда полки в погребе буквально прогибались под тяжестью бесчисленных банок с консервированными овощами. Мы консервировали и лисички, и Черстин и я ползали на коленях по всему коровьему выгону, чтобы не пропустить ни одну самую маленькую толстенькую коротышку.

Но когда поспела рожь и ее надо было отвозить на гумно и молотить, мы оставили маму, заваленную фасолью, и провели несколько чудесных дней на возах с урожаем. Возы нельзя было нагружать тяжелой рожью так высоко, как легким сеном. Поэтому править возом с рожью было не так рискованно, и папа с Юханом пришли к согласию, решив, что Черстин и я можем взяться за это дело. Кроме того, править возом нам было просто необходимо, потому что все работники, какие только имелись в усадьбе Лильхамра, были заняты, частично на току — возле молотилки и веялки, а частично на погрузке в поле. Папа сам стоял у фидера^[66] и принимал рожь, разрезал веревки, которыми были связаны снопы, и подавал ток для молотилки. И молотилка гремела так, что приходилось кричать, если хотелось быть услышанным. А снизу текло в мешки мелкое ржаное зерно — бутерброды будущего года.

— Это не просто молотилка, это чудотилка, — сказала Черстин.

Солому уносило из веялки далеко-далеко, в самый конец гумна, где стоял Ферм, и он принимал ее и расстилал как положено.

Как только я въезжала на гумно со своим возом, я распрягала лошадей и запрягала их в пустой воз, а потом лошади снова неслись в поле, где Улле уже стоял наготове, собираясь грузить рожь на новый воз. Между тем Юхан разгружал оставленный на гумне воз как раз до тех пор, пока Черстин со страшным шумом не врывалась туда с новым грузом. Затем она проделывала тот же маневр, запрягала своих лошадей в пустой воз и пускалась в обратный путь, чтобы привезти новую партию ржи. Когда мы, Черстин и я, встречались на узкой дороге, ведущей к ржаному полю, и с трудом могли, разминувшись, проехать друг мимо друга, мы иногда придерживали на секунду лошадей, чтобы обменяться той или иной мыслью. Но большей частью мы лишь мимоходом кивали друг другу, чувствуя себя кораблями, встретившимися в ночи.

Молотьба и все связанное с этим было в какой-то степени веселой работой. Молотилка громыхла, а мотор стучал так часто, что когда ты с сумрачного гумна снова отправлялся с пустым возом в путь и выбирался на солнечный свет, то, хочешь или не хочешь, ты чувствовал себя приободрившимся. Солнце сияло так ясно, небо было высоким и голубым, а вдоль обочины светился желтый подмаренник.

После ржи настал черед пшеницы и овса. Август подошел к концу, и наступил сентябрь; весь урожай был обмолочен и размещен под крышу не раньше последних дней сентября. И тогда папа, потирая руки, заявил, что совершенно определенно — быть крестьянином не так трудно, как он думал.

В сентябре разразилась великая заготовка яблочного пюре в усадьбе Лильхамра. Год выдался плодородный на фрукты, даже слишком плодородный, по моему глубокому убеждению. Как только настал день без всякой молотьбы, Черстин и я полезли на яблони и стали собирать яблоки. Это было по-настоящему весело, но великую заготовку яблочного пюре я не одобряла.

— Неужели угроза осады уже так нависла над нами, что мы *вынуждены* заготавливать все это пюре? — спросила я маму однажды, когда мы стояли в погребе, глядя на наши припасы. Кроме астрономического количества овощных и грибных консервов, нескольких сотен бутылок с малиновым, клубничным, вишневым и черносмородиновым соком, а также бесчисленных банок черничного и вишневого варенья, и варенья из крыжовника, и другого, не знаю какого еще, там уже громоздились башни из банок яблочного пюре, одна больше и мощнее другой.

— Сельское домашнее хозяйство должно строиться на самообеспечении, — решительно сказала мама, — это совершенно необходимо.

— Да, но, вероятно, не так уж необходимо снабжать наших потомков во многих будущих поколениях яблочным пюре урожая именно этого года, — возразила я.

— Зима длинна, моя милая девочка, — парировала мама, — и неизвестно, как будет с фруктами в будущем году.

Так что ничего больше не оставалось, как превращать яблоки в пюре. Мы чистили яблоки и клали их в банки для консервирования, мы разрезали яблоки на кусочки, чтобы сушить их для фруктовых супов, мы перетирали их через сито и делали пюре, пюре, *пюре!*

— Слушаюсь и повинуюсь! Попроси меня толочь сухари, чесать шерсть, танцевать хамбо^[67] или лизать почтовые марки, делать все, что тебе угодно, только бы это не имело ничего общего с яблочным пюре!

— Неужели! — невозмутимо воскликнула мама. — Может, вместо пюре ты захочешь очистить эти груши? Все-таки некоторое разнообразие!

Сентябрьские дни чаще всего были ясными и погожими, и мы обычно сидели в беседке — мама, Черстин и я, а перед нами на столе лежали гигантские горы яблок. Мы впитывали солнечные лучи, свежий, чуть прохладный воздух и чудесный аромат яблок. Папа охотно приходил в беседку и подсаживался, как он галантно выражался, к своим «трем красивым девочкам». Однажды, испытующе глядя на нас с Черстин, он сказал:

— Личики у Патрончиков коричневые, словно перцовые пряники.

Мы и вправду были загорелые, да и сам он тоже, но ведь можно было почти сосчитать часы, которые мы провели в доме с тех пор, как приехали в усадьбу Лильхамра. Как удавалось не загореть маме, я не знаю. Кожа ее, несмотря на множество солнечных лучей, которые она поглощала, оставалась все такой же аристократически лилейно-белой. Папа с явным восхищением посмотрел на нее и сказал:

— Если бы ваша мама была цветком, то, должно быть, она была бы ландышем!

Что касается папы, то он восхищался бы мамой, даже если бы ей пришла в голову идея

разрисовать свое лицо в зеленую клеточку или в синюю крапинку.

— А если бы ты был цветком, — сказала Черстин, — ты был бы из масличных растений. Вообще-то ты толстяк и есть!

Но тут мама строго выговорила Черстин:

— Подумай о том, как ты говоришь со своим отцом!

И Черстин ответила, что сказала именно то, что думала.

И тогда мама заметила папе, что если бы он с того самого дня, когда мы только родились, не питал такую преступную слабость к своим дочерям, то они не посмели бы разговаривать с ним в подобном тоне.

— Знаю, знаю! — воскликнул папа, безутешно качая головой. — Я принадлежу к тем несчастным родителям, которые бьют своих детей только в целях самозащиты. Но это положение должно измениться! Патрончиков необходимо воспитывать! Сурово и беспощадно! Я думаю заняться ими на днях, думаю начать... посмотрим... с четверга.

— Чудесно! — заметила Черстин. — Можно воспитывать нас между одиннадцатью и двенадцатью, потому что позднее у меня нет времени.

Мама была права, папа всегда *питал* к нам слабость.

И нашими маленькими детскими умишками мы разгадали это и использовали эту его слабость уже на самой ранней стадии развития. Когда мы еще детьми восторженно месили глиняное тесто на заднем дворе нашего городского дома и прислуга, высунув голову из окна, говорила: «Черстин и Барбру, сейчас же идите домой», мы осторожно спрашивали: «Кто велел?», — потому что знали: если велела мама, то безопаснее немедленно потихоньку отправиться в путь. Но если велел папа, то можно было, абсолютно ни о чем не беспокоясь, испечь и еще один, и даже два пряника из глины и с нами ровно ничего не случится. Но, как я и сказала маме, если он питал к нам чрезмерную слабость, то ведь и мы, с другой стороны, питали чрезмерную слабость к нему, так что это словно бы уравнивало нас. Пожалуй, мы обходились с ним немного сурово. Так, например, у нас были разные представления о том, насколько часто и насколько долго нам разрешается гулять по вечерам. Лето клонилось к концу, а Черстин и я делали все, что в наших силах, желая использовать каждый миг. Мне, по крайней мере, казалось, что я не могу достаточно надышаться чудесным воздухом, насладиться солнечным и лунным светом, и странствиями в прохладные вечера, и шумом ветра, колышущего листву, и ощущением прохладной воды, когда я плыву к островку Кальвхольмен и обратно. Когда работа на этот день заканчивалась, уже абсолютно невозможно было сидеть у спокойного домашнего очага. Я приняла твердое решение выжать из уходящего лета каждую унцию ^[68] сладости. Большею частью мы делали это вместе: Черстин и я, Анн, Вивека и Торкель, Бьёрн и Эрик. Мы рыскали в окрестных лесах и полях, мы ездили на велосипедах по всем хоженным и нехоженным дорогам и тропам в лунные сентябрьские вечера; и до самой смерти я буду помнить снопы, сложенные в копны на пашнях и озаренные лунным светом, и поросшие кувшинками темные озерца, и маленькие спящие домишки, где разумные люди уже легли. Я буду помнить и светлячков у обочины, и как холодный вечерний воздух бил прямо в лицо, и как внезапно и неожиданно ты въезжал на велосипеде в зону совершенно теплого воздуха, и как мы шутили и смеялись, и как отчетливо звучали наши голоса в царившей вокруг тишине.

Но папа был не очень доволен нами, и в один прекрасный день он сказал нам, что мы слишком далеки от так называемых «домашних дочек» ^[69]. Мы слишком часто отсутствуем. Он утверждал, что назвал бы нас «отсутствующие или бродячие дочери».

При этих словах нас охватило безумное раскаяние, и мы сказали, что скоро-прескоро мы станем самыми примерными дочерьми на свете.

— Подождите только, пока ужасная осенняя слякоть не прогонит нас домой, к домашнему

очагу, — сказали мы. — Как два мурлыкающих котенка, будем мы сидеть здесь долгими темными зимними вечерами и тихим мяуканьем услаждать жизнь старого отца.

Восемнадцатая глава

И вот настала осень. Неделя катилась за неделей, и воздух с каждым днем становился чуточку прохладней. Наше первое лето в усадьбе Лильхамра кончилось.

Однажды в октябре произошло кое-что, потрясшее меня до глубины души. Совершенно неожиданно среди бела дня приехал на велосипеде Бьёрн и рассказал мне, что должен поехать в Стокгольм. Меня глубоко взволновали его слова, но все-таки мне стало еще хуже, когда он пояснил, что ему придется остаться в столице на два месяца. Именно такой срок он наметил себе, чтобы сдать дополнительный студенческий экзамен по физике.

— Два месяца! О! — воскликнула я.

Поспешно было принято решение, и решение бесповоротное. Всю следующую неделю мы с Бьёрном будем ненадолго встречаться по вечерам до тех пор, пока не настанет страшный день разлуки.

Его поезд отходил в семь часов утра, а накануне он явился в усадьбу Лильхамра, как раз к послеполуденному кофе, и торжественно со всеми попрощался.

Я проводила его немного по аллее. Он вел велосипед, и мы задумчиво шагали по ковру опавших тополиных листьев, шуршавших у нас под ногами. Я, вздохнув, сказала:

— Во Франции говорят: расставаться — значит чуточку умереть. Это неверно!

— Неужели? — спросил Бьёрн.

— Да, — сказала я. — Расставаться — значит все равно что умереть совсем.

— Да, но два месяца — не такой уж большой срок, — утешал меня Бьёрн.

— Ты не знаешь, о чем говоришь, — возразила я. — Два месяца — это все равно что пять миллионов сто восемьдесят четыре тысячи секунд. Я высчитала точно, уж поверь мне! Но тебе это будет не так тяжело. Ты, вероятно, окунешься прямо в шумную, беззаботную, полную удовольствий жизнь и встретишь множество противных стокгольмских девчонок, которые попытаются тебя охмурить.

— Вероятно, — с дразнящей улыбкой согласился Бьёрн.

— А старую прекрасную Барбру ты, пожалуй, скоро забудешь, — в легком тоне сказала я.

— А старую прекрасную Барбру я не забуду, — пообещал Бьёрн. — Ее я буду помнить все эти пять миллионов секунд. Помнить ее с коричневой крапинкой на щеке и все-все про нее.

Я ничего не ответила, но, думаю, вид у меня был весьма самодовольный. Я проводила его до осины, которую в детстве ободрал папа.

— Береги свое здоровье! — посоветовала я. — Помни, что у тебя был бронхит! Ты, вероятно, возьмешь с собой на случай сырой погоды шарф на шею?

— Разумеется! И галоши, и зонтик на случай дождя, — насмешливо сказал он.

— Смейся, издевайся, мне это все равно! Во всяком случае, я не собираюсь отпустить тебя в дорогу, бросив на произвол судьбы без всяких напутствий.

У осины и начался его первый спуск, словно у горнолыжника. Я стояла возле дерева и смотрела, как он стремглав кинулся в путь вниз по склону и на самом опасном месте, там, где дорога делает поворот, обернулся и помахал шапкой.

— Сумасшедший! — закричала я. — Смотри, куда едешь!

Потом я отправилась домой, и влажные листья тополя падали мне на голову, и я была чуточку грустна. У калитки я встретила палу и Черстин, собиравшихся до наступления сумерек сделать обход наших владений. И я, присоединившись к ним, пошла рядом с папой, только с другой стороны. Мы осмотрели скотный двор, и конюшню, и овчарню, и свинарник. Повсюду царили мир и тишина. На пашне Норрйердет ходил за плугом и пахал Юхан. С уборкой урожая

в этом году было покончено, картофель и корнеплоды вырыты, осталась только пахота. Папе нужно было кое о чем посоветоваться с Юханом, и мы прошлись до пашни Норрйердет. Юхан моментально закричал лошадям: «Тпру!» — и обратился к нам взгляд своих голубых глаз, который всегда был только дружелюбный и никакой другой. У них с папой началась одна из обычных дискуссий, где Юхан выступал со своими мелкими осторожными репликами и, как всегда, в каждом вопросе добивался своего. Потом мы расстались с ним, и он снова принялся пахать.

Когда мы вышли на дорогу, я обернулась и увидела, как он ходит по пашне, маленький и надежный, добрый и преданный... И вдруг у меня защемило в груди от нежности к нему, и я совершила бессмысленный пробег обратно наискосок через все борозды, и когда я подбежала к нему, то совершенно запыхалась.

— Ну, чаво там еще? — спросил Юхан.

— Юхан, — тяжело дыша, выпалила я, — Юхан, я тебя люблю. Ужасно люблю!

И, произнося эти слова, я подумала, что теперь он, должно быть, решит, что у меня не все дома.

— Энтото еще только не хватало! — со своим обычным олимпийским спокойствием сказал Юхан. — И энтото все? Ничаво больше?

— Нет, ничего больше!

— Вон што, тогда покедова! — сказал Юхан, собираясь распрягать лошадей, потому что начинались сумерки.

А я побежала догонять папу и Черстин. Мы молча шагали по дороге, размышляя каждый о своем. Я думала о Бьёрне и о том, что мне следовало бы быть жутко, страшно печальной, и, может быть, в глубине души так оно и было. Но не целиком и полностью. Было столько всего, чему я должна была бы и радоваться. Между деревьями замелькал наш маленький белый дом. Так дружелюбно светилось там окно кухни, и я знала, что в кухне ходит, ожидая нас, мама и что от обеда остался яблочный пирог с ванильным соусом. И я надумала взять себе большую порцию и сесть с ней у огня в общей комнате, тщательно выбрав себе на книжной полке интересную книгу. А позже вечером Черстин и я сыграем партию в шахматы с папой, и он обязательно выиграет, чему будет по-настоящему рад.

Не знаю, о чем думали папа и Черстин. Возможно, примерно то же самое, что и я. Ведь в сумерках Лильхамра была так прекрасна! Весь ландшафт был словно окутан легким туманом. Что-то таилось в самом освещении, настраивавшем тебя на размышления и удерживавшем от обычной болтовни. Папа тоже был молчалив. Но вдруг без предварительного предупреждения он начал читать лирические стихотворения, как делает всегда, когда желает выразить какие-то чувства, а собственных слов не хватает. Он прочитал стихотворение, которое я особенно люблю. Вот оно:

Сердцу должно расцветать от мечтаний,
Иначе сердце мертво.
Жизнь, подари нам струящийся ливень желаний,
Жизнь, подари нам солнца тепло!

Ближе к осени поднимется колос,
И с благодарностью за все тогда
Мы уберем урожай и запоем во весь голос,
А позже встретим печали и зимние холода^[70]

Снизу с озера поднимался легкий пушистый туман. Без всякого сомнения, настала осень. Наше блистательное лето прошло. Но это неважно! Осенний дождь прополощет глинистые земли усадьбы Лильхамра, выпадет снег и скроет весь наш двор в своих белых объятиях. Но снег весной снова растает, и тысячи фиалок выбьются из земли в нашем парке, в моей роще снова зацветут весенние первоцветы, земляника начнет созревать на папиных земляничных полянках, а я буду там все снова, и снова, и снова переживать свои прежние чувства.

Мы подошли ближе к дружелюбному свету из окошка. Взойдя на крыльцо, папа обернулся и посмотрел на свои владения, что медленно исчезали в тумане и сумерках.

— Вот увидите, сегодня ночью прольются тысячи дождей, — сказал он.

И мы вошли в дом.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)

notes

Стадспаркен — городской парк (*шв.*). — *Здесь и далее примечания переводчика.*

Были допущены к причастию (*рел.*).

Арденны — порода выносливых и работоспособных лошадей-тяжеловозов, выведенная в Бельгии, в районе Арденнской возвышенности.

Лильхамра — малый каменистый холм, поросший березой (*шв.*).

Патрончики — так называет дочерей папа-военный.

Всего в гимназиях существовало четыре курса.

Следовать (нем.).

B+ — примерно 3+.

Очаровательной (*фр.*).

Шведская полумиля — 5 километров.

Популярный альманах «Среди домовых и троллей» выходил в Швеции в 1907–1937 гг. и принес известность многим авторам литературных сказок страны. Таинственный волшебный сказочный мир по заказу этого альманаха создал молодой талантливый художник Йон Бауэр (1882–1918).

Стурбэккен — большой ручей (*шв.*).

Энгельбрехтссон Энгельбрехт (?—1436) — вождь народного восстания в Далекарлии против датчан в 1434–1436 гг.

Умирать (фр.).

Преподаватель высшего учебного заведения (шв.).

Сконе — одна из южных провинций Швеции.

Блумкулла — цветочный бугор (*шв.*).

Лёвхульт — лиственный лесок (*шв.*).

Эльхумла — пивная пчела (*шв.*).

Плац (*англ.*).

Йёнчёпинг — административный центр шведской области

Адонис — бог плодородия и символ красавца в древнефиникийской мифологии. Культ Адониса был распространен с V в. до н. э. в Греции, позднее в Риме.

Вермланд — одна из живописнейших областей Швеции.

«Не произноси слова прощания» (англ.).

Прекрасно! (англ.)

Вальхалла — чертог мертвых (*др. сканд.*). В скандинавской мифологии — дворец верховного бога Одина, куда попадают после смерти павшие в битве воины и где они продолжают прежнюю героическую жизнь. Согласно народной легенде, примерно с такого крутого утеса бросались старики, чтобы не быть в тягость своему роду.

Восклицание иллюзионистов в момент завершения фокуса.

Стихотворение Вернера фон Хейденстама «Швеция» из сборника «Паломничество и годы странствий».

Ваккерэнген — красивый луг (*шв.*).

Портрет Моны Лизы («Джоконда», ок. 1503 г., Лувр, Париж) — одно из самых прославленных полотен великого итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452–1519). Портрет Моны Лизы, одухотворенность ее лица сделали его своеобразным символом эпохи, а улыбка Моны Лизы стала символом загадочности («улыбка Джоконды»).

В начале XX в., в «пору бед и нищеты», как называет этот и некоторые другие периоды жизни Швеции Астрид Линдгрэн (см. сказку «Солнечная полянка». Собр. соч., Л., 1994, т. IV), многие шведы, особенно торпари из провинций, эмигрировали в Америку.

Высокое растение со свисающими ярко-красными цветами в форме сердца. По-шведски буквальное название — «сердце лейтенанта». По описанию, возможно, это смолистая дрёма.

Кварнбушён — мельничное озеро (*шв.*).

Моссторп — мшистый торп (*шв.*).

Самаритянка — самоотверженное бескорыстное существо, всегда готовое прийти на помощь.

Мекка — священный город мусульман в Саудовской Аравии, место их паломничества.

Хедин Свен (1865–1952) — известный шведский географ, путешественник и исследователь, член Шведской Академии (1913).

Такла-Макан — пустыня на западе Китая.

Чи чероне (*ит.*) — проводник, дающий объяснения туристам при осмотре достопримечательностей. Иногда, как здесь, это слово употребляется в иронически-шутливом смысле.

Радиола — аппарат, соединяющий в себе радиоприемник, электропатефон и репродуктор.

Слова «Колумбово яйцо» говорят (редко) по поводу неожиданно смелого выхода из какого-нибудь затруднительного положения. (Из ходячего рассказа о знаменитом мореплавателе Христофоре Колумбе (1451–1506), который в ответ на предложение поставить куриное яйцо укрепил его стоймя, надколов снизу.)

«Вырезать кровавого орла» — лишить кого-либо жизни, вырезав ребро, а затем вытащив легкое.

Тур исполняет на шведском языке стихотворение «Твои жемчуга и алмазы...» великого немецкого поэта Генриха Гейне (1796–1856) из сборника «Книга песен» (1827). Цит. по: Гейне Г. Собр. соч. В 10 т. Т. 1. Л.: ГИХЛ, 1956. С. 112. Перевод Т. Сильман.

Герой многотомной серии приключенческих книг известного американского писателя Эдгара Райса Берроуза (1875–1950).

Труба иерихонская — чрезвычайно громкий звук. Выражение происходит от города Иерихона (VII–II тысячелетие до н. э.) в Палестине (территория современной Иордании). В конце II тысячелетия до н. э. разрушен еврейскими племенами. По библейскому преданию, стены Иерихона рухнули от звуков их труб.

Праздник середины лета приходится в Швеции ближе всего к дню летнего солнцестояния, 24 июня. (В России этот праздник называется Иван Купала, Иванов день.) Обычно в канун праздника в Швеции жители сельской местности, городских предместий собираются на лужайке, в центре которой стоит так называемое майское дерево — шест из обтесанного древесного ствола с поперечиной у вершины, который в течение дня все вместе убирают зелеными ветвями и цветами.

Чэллаэнген — родниковый луг (*шв.*).

Статари — работники, нанимающиеся на год и получающие оплату натурой.

Линдокра — липовое поле (*шв.*).

Обрамленный золотом ящик, содержащий доски, таблицы с написанными на них священными текстами (*истор.*).

Поговорка, к которой Линдгрэн, используя ее, прибавила несколько слов.

Новый Завет. От Матфея, 7, 12.

Сказка классика финляндской литературы Сакариаса Топелиуса (1818–1898), писавшего на шведском языке, из сборника «Детское чтение» (1847).

Сказка известнейшего французского писателя Шарля Перро (1628–1703) из сборника «Сказки моей матушки Гусыни».

Иосиф Прекрасный — сын патриарха Иакова (согласно ветхозаветному преданию) и Рахили, любимец отца, которого завистливые братья бросили в пустой колодезь и обрекли на медленную смерть (Бытие, 37: 1–4, 5–20, 21–35; 41: 1–36, 37–48).

Кварнбуторп — мельничий торп (*шв.*).

Кроль (англ.).

Мавры (*истор.*) — народность Северной Африки, составляющая основное население современного Марокко, усвоившая в VIII веке н. э. арабскую культуру и в эпоху Средневековья подчинившая своему влиянию Пиренейский полуостров.

4 октября 732 г. франкская тяжелая конница полководца Карла Мартелла (ок. 688–741), фактического правителя Франкского государства (с 715 г.), разгромила войско мавров при Пуатье (городе во Франции), заставив их отойти к Пиренеям и остановив их продвижение в Западную Европу.

Суверен — носитель верховной власти (*истор.*).

Лицензиат — лицо, сдавшее высший академический экзамен. Прежде считался шагом на пути к докторской степени. Ныне упразднен на многих факультетах (но не на медицинском).

Своеобразная перефразировка романтического монолога автора из великого романа Сельмы Лагерлёф «Сага о Йёсте Берлинге» (1891): «О, женщины минувших лет!.. Нежные и мягкие, как бельчата, обнимали вы шею мужей...» Цит. по: Лагерлёф С. Сага о Йёсте Берлинге // Лагерлёф С. Собр. соч. В 4 т. Т. 1. Л.: Художественная литература, 1991. С. 84.— Пер. Л. Брауде.

Раки краснеют от кипятка. Черстин хочет сказать, что, если раков перепугать, они не покраснеют.

Н оррйердет — северная пашня (*шв.*).

Кальвхольмен — телячий остров (*шв*).

Фидер — приспособление для передачи куда-нибудь питательной энергии или подлежащего обработке сырого материала (*англ.*).

Хамбо — шведский народный танец на три четверти такта, более медленный, чем вальс.

Унция — до введения метрической системы распространенное во многих странах (а в Великобритании и в XX в.) название для разных единиц веса, идущее от Древнего Рима. В России мера прежнего аптекарского веса, равнялась 29,86 грамма.

Незамужняя девушка, живущая и проводящая время в родительском доме. Обычно имеются в виду женщины и девушки более старшего возраста.

Стихотворение «Сердце» принадлежит перу известного шведского романиста, новеллиста, лирика и театрального критика, члена Шведской Академии (с 1925 г.) Бергмана Бу (1869–1967), автора поэтических сборников «Марионетки» (1903), «Стокгольмские стихи» (1947) и т. д.